



**КОНСТАНТИН БОТТÉ**

**КОРОЛЕВСКИЙ  
СЕКРЕТ**

18+

# Константин Боттэ

## Королевский секрет

<https://litres.ru/74046944>

SelfPub; 2026

### Аннотация

Санкт-Петербург, 1755 год. Поручик Алексей Суцов, обедневший гвардейский офицер, получает от главы Тайной канцелярии Александра Шувалова опасное задание: выследить французского шпиона, скрывающегося под маской изящного шевалье д'Эона. За версальским кружевом и светскими улыбками скрывается хладнокровный убийца и мастер подлога. В вихре балов и тайных встреч Суцов знакомится с княжной Настасьей Долгоруковой — сиротой из опального рода, которую заставляют служить французским курьером. Их случайная встреча перерастает в смертельно опасную игру, где ставка — не только государственные шифры, но и жизнь.

«Королевский секрет» — это исторический шпионский роман о подлогах, предательстве и чести. На фоне дворцовых интриг, петербургских туманов и застенков Тайной канцелярии разворачивается поединок между теми, кто продаёт родину за французское золото, и теми, кто готов заплатить за неё собственной кровью.

# Содержание

Версаль, Большой Трианон	5
Час спустя. Петропавловская крепость.	37
Конец ознакомительного фрагмента.	95

# **Константин Боттэ**

# **Королевский секрет**

ПРОЛОГ

# Версаль, Большой Трианон

## Май 1755 года

За окнами кабинета, в угасающих пурпурных сумерках, едва слышно плескались далекие воды Большого канала. Тени от стриженных тисовых аллей вытягивались, становились длинными и зловеще-синими. Последние лучи солнца золотили статуи, купидоны и барельефы, превращая парк в театральную декорацию, где за каждым кустом прятался шпион, а за каждой улыбкой – заговор.

Дорогой паркет парадных галерей, натертый до зеркального блеска, ещё помнил стук каблуков придворных дам, шелест шёлка, приглушённый смех и шепот. Там, в Большом дворце, жизнь была ключом: карты, любовные интриги, борьба за ленту Святого Духа, бесконечные апартаменты, где каждая фальшивая нота менюэта стоила целого состояния. Но здесь, в потайных комнатах Большого Трианона – личного убежища короля, куда доступ имели лишь избранные, царила удушливая, почти монастырская тишина.

Её нарушали только потрескивание догорающих поленьев в камине, тиканье мраморных часов на каминной полке да лёгкое позвякивание серебряной ложки о фарфор. Воздух в кабинете был тяжёлым, насыщенным. Пахло амброй, её до-

бавляли в восковые свечи, которые горели в канделябрах, отбрасывая причудливые тени на стены, обитые лионским шёлком. Пахло дорогим виргинским табаком с примесью бергамота, который курил принц Конти. И ещё горьким, пряным ароматом свежееобжаренных кофейных зёрен, запахом, который король Людовик XV любил больше, чем ладан в королевской капелле.

Людовик XV, король Франции и Наварры, собственноручно помешивал дымящийся напиток в крошечном серебряном кофейнике с изящной ручкой из черного дерева. Варить кофе самому, без лакеев и министров, чьи постные лица и бесконечные доклады о пустой казне, о недовольстве парламентов, о болезнях дофина и интригах любовниц, которые нагоняли на него смертную тоску, было его любимым развлечением. Он устал от короны, устал от власти, устал от бесконечной комедии, которую называли «божественным правом». Варка кофе была единственным ритуалом, где он оставался самим собой, просто человеком, который любит густую, чёрную горечь, обжигающую губы а не символом нации.

На короле был простой, без вышивок, орденов и резавшего глаза золотого шитья, домашний кафтан из синего бархата с кружевными, но уже засаленными, не первой свежести манжетами. На ногах мягкие замшевые туфли, в которых он бесшумно, как призрак, скользил по паркету. Давно не пудренные волосы, спадали на плечи жидкими, трону-

тыми сединой прядями. Но самое страшное было в его глазах. В усталых, полуприкрытых веками глазах, цвета старого мёда, с глубокими мешками под ними, светилась холодная, вековая скука человека, который пережил и любовь, и ненависть, и предательство, и искреннюю верность. Ему было сорок пять, но выглядел он гораздо старше. Власть имела свойство старить быстрее, чем болезни.

— Вы вовремя, кузен, — не оборачиваясь, произнёс Людовик, разливая чёрный, густой, как смола, кофе по двум чашкам из изысканного венсенского фарфора. На каждой был нарисован синий охотничий рожок — личная эмблема короля. — Наш министр Руйе сегодня битый час умолял меня подписать указ об отправке официального посольства в Санкт-Петербург. Бедняга думает, что мы действительно ищем дружбы с этой северной царицей Елизаветой. Какой он наивный, этот Руйе. Я видел портрет императрицы. Капризная сибаритка, которая думает лишь о балах и новых шелках. Но под этой светской пеной прячется нрав истинной дочери Петра Великого. Она способна двинуть в бой сотысячную армию, даже не испортив себе аппетита.

Тяжёлая гобеленовая портьера, пурпурная, с вытканными золотом лилиями, бесшумно отодвинулась. Из тени, словно материализовавшись из дыма, скользнул принц Луи де Бурбон-Конти. Двоюродный брат короля и по совместительству глава «Секрета» — личной, глубоко законспирированной шпионской сети Его Величества, о существовании кото-

рой не догадывалось даже французское Министерство иностранных дел. На принце был чёрный, строгий кафтан без единого украшения, и только массивный серебряный крест на шее выдавал его высокое происхождение. Он был младше короля на восемь лет, но выглядел старше. Лицо его иссекли глубокие морщины политических интриг, а чёрные глаза, быстрые и колючие, бегали по комнате, как испуганные зверьки, оценивая каждую тень, каждый шорох.

Конти почтительно поклонился, принимая чашку. Его пальцы, униженные простыми перстнями, не дрожали.

— Официальные ноты – прекрасная ширма для глупцов, сир. Пока господин Руйе пишет меморандумы о вечном мире и братстве королей, Англия засыпает Пруссию золотом. Наши агенты в Ганновере доносят, что Фридрих готовится к войне. Он уже отдал приказ о мобилизации. Если Фридрих двинет свои полки на Европу, нам понадобится противовес. Сильный, страшный и безжалостный. Русский колосс должен ударить по пруссакам с востока, пока мы бьём с запада.

Король поставил серебряный кофейник на жаровню с угольями и подошёл к огромному дубовому столу, заваленному картами, свитками и запечатанными пакетами. На самом верху лежала карта Европы – дорогая, расписанная от руки, с живыми, пульсирующими границами. Его холёный палец с тяжёлым золотым перстнем с гербом дома Бурбонов, замер над бескрайним, закрашенным бледно-зелёным пространством на востоке. *Russie*. Страна, которая для европей-

цев была больше мифом, чем реальностью. С бескрайними лесами, болотами, медведями на улицах и людьми, истово молящимися потемневшим от времени византийским иконам.

— Вот наш противовес, Конти. Варварский колосс. Сто тысяч бородатых солдат, которые не знают жалости и умеют умирать по первому слову своей императрицы. Но помните мою главную волю, этот колосс должен служить нам, но никогда не должен дойти до Европы. Если русские поймут свою истинную силу, они раздавят нас всех. Их армия дешёва, вынослива и не требует таких трат на пайки и жалованье, как наши полки. Их солдаты едят чёрный хлеб и пьют воду. Наши же умирают от дизентерии при первой же кампании. Наша цель в Петербурге не союз с Россией, а сделать их слепыми, связать им руки их же собственными договорами и заставить воевать за наши интересы, не понимая, что они воюют за нас.

Король повернулся к камину, подбросил полено и некоторое время молча смотрел, как огонь пожирает сухую кору.

— Твой человек готов? — спросил он наконец, не оборачиваясь.

— Он ждёт в приёмной, сир. Шевалье Шарль-Женевьев-Луи-Огюст-Андре-Тимоте д'Эон де Бомон, — на одном дыхании, как заклинание, перечислил полное имя принца Конти. — Ему двадцать семь лет. Он виртуозно владеет шпагой, которой, говорят, в Париже нет равных. Говорит на че-

тырѣхъ языкахъ: французскомъ, немецкомъ, латыни и... русскомъ, сир. Причѣмъ настолькоъ чисто, что его можно принять за природнаго московита. Онъ изучалъ право, исторію, дипломатию. Но главное, онъ фанатично преданъ короне. Слишкомъ фанатично, я бы даже сказал. У него нетъ ни семьи, ни состоянія, ни любовницы. Только долгъ.

— Слишкомъ фанатично, это опасно, Конти, — заметилъ король, в голосе котораго прозвучала лёгкая, едва уловимая насмешка. — Фанатики не умеютъ отступать. А в шпионаже умение отступить важнее умения победить.

— Онъ умеетъ отступать, сир. Онъ умеетъ даже исчезать. В прошломъ году, выполняя секретное порученіе в Туринѣ, онъ переодѣлся в женское платье и три недели прожилъ в домѣ герцогскаго министра, собирая нужные намъ бумаги. Его не узнали. У него тонкіе черты лица, почти девичьи. И онъ знаетъ, какъ пользоваться этимъ даромъ.

— Переодевается в женщину? — Людовикъ XV усмехнулся. — Забавно. В Версалѣ этого добра хватаетъ. Что ж, зовите его. Посмотримъ на этого... шевалье в юбке.

Принцъ Конти лично приоткрылъ тяжелую дверь в приемную. Портьера снова отодвинулась, и на пороге появился молодой человекъ.

Шевалье д'Эон былъ невысокъ, хрупокъ, с тонкими, почти девичьими чертами лица. Фарфоровая кожа казалась бледной даже при тускломъ светѣ свечей. На нёмъ былъ скромный, но безупречно сшитый кафтанъ цвета увядшей розы, не крича-

щий, не бросающийся в глаза, но отшитый лучшим портным Парижа. Кружевное жабо было накрахмалено до ломкости, манжеты идеально отглажены. Его напудренные волосы, собранные в тугую косицу, уложены с той идеальной версальской точностью, на которую у парикмахера уходило не менее часа. Шевалье склонился в поклоне столь глубоком и грациозном, что казался не хитрым шпионом, а скорее придворным щеголем, готовым рассыпаться в любезностях.

Но когда он поднял голову, король увидел его глаза. Карие, почти чёрные, с холодным, стальным блеском. В них не было ни трепета, ни раболепия, ни даже обычного человеческого страха перед лицом монарха. Там был голод по власти, по приключениям, по опасности, которая пьянит больше, чем бургундское. И абсолютная, пугающая пустота там, где у нормальных людей живёт совесть.

— Шевалье. — Людовик XV медленно подошёл к нему, заглядывая под кружевную треуголку, которую д'Эон держал в левой руке, прижав к бедру. Король не протянул руки для поцелуя, этого права не имел никто, кроме самых высших сановников. Он просто смотрел, сверлил взглядом, пытаясь найти изъян, слабость, страх. Но нашёл только зеркальный отблеск собственной усталости.

— Вы отправляетесь в Россию, — сказал король, и каждое его слово падало, как камень в воду. — Официально, вы мелкий секретарь при миссии Александра Дугласа, нашего торгового агента в Петербурге. Вы будете улыбаться на ба-

лах, целовать ручки фрейлинам, усыплять бдительность их канцлера Бестужева и делать вид, что французскую корону заботит только мир и братство. Вас никто не должен заподозрить. Вы – тень. Вы – шепот. Вы – ничто.

Д’Эон не шелохнулся. Только веки его чуть приопустились, как знак того, что он внимает каждому слову.

— На всё воля Ваша, сир, — произнёс он голосом, в котором не было ни подобострастия, ни гордости. Только тихая, ледяная уверенность.

— Но тайно, — голос короля опустился до шёпота, такого же тихого, как шуршание мыши за обоями, — вы найдёте лазейку к вице-канцлеру Воронцову. Он тщеславен, завистлив и обожает всё французское. Купите его. Версаль выделит вам четыреста тысяч ливров субсидий на подкуп его окружения. Воронцов должен стать нашими глазами и ушами в их Совете. Вы должны выкрасть их военные шифры, списки агентов, планы дислокации полков и, если получится, личную переписку канцлера Бестужева с английским послом. Россия должна вступить в войну против Пруссии, но воевать она будет так и там, где укажет Париж. Вы поняли меня, шевалье? Вы поняли, какова цена вашей миссии?

Д’Эон выдержал паузу ровно на три удара сердца.

— Я выверну этот заснеженный Петербург наизнанку, сир, — ответил он, и в его тихом голосе прозвучала сталь. — Я пройду сквозь их Тайную канцелярию, как нож сквозь масло. Если понадобится, я надену женское платье, чтобы

войти в доверие к их фрейлинам и статс-дамам. Их шифры будут лежать на этом столе. Я клянусь вам. Не честью, ибо честь шпиона, это молчание. Я клянусь жизнью, которая мне не дорога.

Людовик XV взял со стола тяжёлый кожаный пакет, запечатанный тремя слоями багрового королевского сургуча. На сургуче был отпечатан оттиск личного герба: солнце с девизом «Nes pluribus impar». Письмо, которое должно было разрушить все планы английской дипломатии. Личное послание императрице Елизавете Петровне в обход канцлера Бестужева, который ненавидел Францию всей душой. Послание, где король предлагал тайный союз, обещал субсидии и заклинал не верить англичанам. Если это письмо попадёт в руки Бестужева, то д'Эона казнят как шпиона. Если дойдёт до императрицы, то Франция получит могущественного союзника.

— Передайте это императрице лично в руки, — приказал король, протягивая пакет. — Никому не доверяйте. Даже вашему послу. Даже самому себе. Но помните, д'Эон, что Бестужев — старый лис, и у него нюх на предателей, а его Тайная канцелярия, которой заправляет Александр Шувалов, умеет вырывать языки так, что вы пожалеете, что родились на свет. Если вас поймают с этим пакетом, Франция официально заявит, что понятия не имеет, кто вы такой, и что подпись на письме является подделкой. Вас сошлют в казематы Петропавловской крепости. И я не пророню ни слезы, шевалье. Ни одной.

Д'Эон принял пакет, бережно, как новорождённого младенца, спрятал его во внутренний карман кафтана, где билось сердце, которое, казалось, не билось вовсе. Затем поднял глаза на монарха. На его губах заиграла та самая тонкая, змеиная улыбка, с которой он через год будет проливать кровь на берегах Невы, кружить в менуэте с русскими княжнами и лгать в глаза самому Шувалову.

— Сир, для шпиона «Секрета короля» нет более высокой чести, чем умереть за Францию так, чтобы о его имени никто никогда не узнал, — произнёс он, и в голосе его прозвучало что-то похожее на молитву. — Да хранит вас Господь, сир.

Д'Эон совершил ещё один безупречный поклон, изящно отставив ногу, с достоинством маршала Франции, и, повернувшись на каблуках, бесшумно, словно не касаясь пола, исчез за тяжелой портьерой. Даже шагов не было слышно. Только легкий скрип паркета и оставшийся в воздухе навязчивый, чуждый, почти ядовитый запах роз, свидетельствовавший о его пребывании.

Людовик XV вернулся к камину, опустился в глубокое кресло с высокой спинкой и сделал глоток уже остывшего, горького кофе. Вкус был отвратительным. Но он допил чашку до дна.

— Как думаешь, Конти, — негромко спросил он, глядя на огонь, который догорал, превращаясь в угли, — вернётся ли этот мальчик живым из России? Или его кости сгниют в какой-нибудь норе под Петербургом?

Принц Конти подошёл к высокому, до самого пола, окну, выходящему в сумеречный парк. Там, внизу, по аллее, усыпанной мелким утрамбованным гравием, катилась неприметная тёмно-серая карета, без гербов, без ливрей, без фонарей. В ней сидел молодой человек, который только что поклялся умереть за Францию, и его путь лежал на восток сквозь разорённую Германию, сквозь прусские кордоны, в страну, о которой в Версале знали только то, что там слишком холодно и слишком много икон.

— Не знаю, сир, — ответил Конти, и его голос дрогнул впервые за весь вечер. — Но если он не вернётся, русские никогда не узнают, кто затянул петлю на их шее. А мы делаем вид, что никогда не слышали этого имени.

За окном стихли удаляющиеся колёса. Большой канал продолжал тихо плескаться в темноте, и казалось, что весь Версаль, этот бесконечный, прекрасный и лживый театр, смотрит вслед карете, увозящей на восток не человека, а саму интригу, сотканную из шёлка, крови и лжи.

## ГЛАВА 1. ЦЕНА ЧЕСТИ

В Париже май пах распускающимися каштанами и подогретым вином, а в Санкт-Петербурге ноябрь пах замерзающей кровью, солью и сырым невским туманом, который пропитывал гвардейское сукно до самых костей. Здесь петлю затягивали иначе – грубо, с хрустом и без версальских реве-

рансов.

Ноябрьский ветер на Неве не знал пощады. Он рвался с Финского залива, сытый ледяной волей и бескрайними просторами, и набрасывался на город, словно оголодавший зверь на добычу. Швырял в лицо пригоршни колкой ледяной крошки, сёк глаза, норовил сорвать треуголку, сбить дыхание и насквозь, до самого нутра, пронимал старое, выцветшее сукно гвардейской шинели. Казалось, сам воздух Петербурга в эту пору состоял из мелко истолченного стекла и тоски по ушедшему лету.

Поручик Алексей Суцов шел по бревенчатым настилам Дворцовой набережной, втянув голову в плечи и пряча подбородок в жесткий, задубевший от многократной сушки воротник. Старые, но еще крепкие сапоги, не раз подкованные походным кузнецом, уверенно хрустели молодым, еще непрочным льдом, который затянул лужи. Каждый шаг отдавался в спине глухой, ноющей болью – памятью о прошлогодней лихорадке, которую Алексей долечивал не в лазарете, а на сквозняках дежурств.

Справа, за черной полосой шевелящейся речной воды, вздымались к низкому, свинцовому небу немые контуры Петропавловской крепости. Шпиль собора уходил в темноту, как застывшая игла, а грузные, мрачные, обросшие преданиями о заточенных узниках бастионы, казались воплощением самой имперской безжалостности. Оттуда, из-за этих стен, редко возвращались с ясным взором. Алексей неволь-

но перекрестился.

Слева, напротив, сиял только что отстроенный, лепной, подсвеченный сотнями свечей в хрустальных канделябрах дворец знатного вельможи. Свет лился из высоких окон, дрожал и переливался на начищенной бронзе, отражался в лужах талого снега, превращая серую петербургскую слякоть в жидкое золото. Из-за стен доносились глухие раскаты медуэта, приглушенный шум голосов и звон посуды. Там, внутри, кружилась в танце столица, пила токайское и шепталась о том, о чем в казармах принято молчать.

Алексей остановился под сводом парадного крыльца, где хоть как-то можно было укрыться от ветра. Из тяжелой, позолоченной кареты, которая только что подкатила, выпархивали дамы в атласных домино, с веерами из страусовых перьев, от которых тянуло лавандой и гелиотропом и кавалеры в шелковых чулках и башмаках с пряжками, с напудренными до белизны лицами, похожими на восковые маски. Они тонко искусственно смеялись не раскрывая ртов, смехом, которому учили в Париже. Лакеи в ливреях цвета «парижская грязь» суетились, подхватывая полы шуб, расшаркиваясь в поклонах.

Суцов невольно коснулся обшлага своего гвардейского кафтана. Золотое шитье Преображенского полка, гордость, доставшаяся от отца-бригадира, было тщательно вычищено старым денщиком Архипом, но сукно на локтях истончилось до предела, до нитей, и просвечивало. Поручик импе-

рии, наследник древнего, но разоренного рода, чувствовал себя здесь чужаком. Отцовские долги душили. Заимодавцы в Лифляндии грозили забрать последнее седло и охотничий кремнёвый дробовик, а в кармане, где раньше лежал отцовский перстень, звенели всего три медные, затертые до блеска полушки. Хватит разве что на кружку сбитня да краюху черного хлеба в закутной лавке.

«России служат не за золото, а по совести». — вспыхнуло в памяти суровое, чеканное слово покойного отца, сказанное как-то на смотре в лагерях под Выборгом. — «На совесть присягнули, с чистой совестью и умрем». Но тут же, как змея из-под камня, выскользнула горькая мысль: «Однако на одной совести пеньки для канатов не купишь и коня не подкуешь. А без коня офицер, что птица без крыла».

Алексей поправил простую, без всяких украшений, черную маску – обязательный атрибут вечера, и, глубоко вздохнув, чувствуя, как в груди колет от морозного воздуха, шагнул в тепло сияющего вестибюля. Двери беззвучно распахнулись, выпустив наружу облако тепла, смешанного с запахами воска, ванили, пудры и дорогого табака.

Его привела сюда не совесть и не желание блеснуть в свете. Три часа назад, в кабинете на Мойке, где даже стены дышали сыростью и страхом, сам Александр Иванович Шувалов – глава Тайной канцелярии, чье дергающееся лицо внушало трепет более пыточных застенков, коротко, как ударом плети, приказал:

— Гляди в оба за шотландцем Дугласом, Сущов. Этот недорезанный якобит, что бежал от английских виселиц в Париж, теперь числится у французов по ведомству «Секрета короля». Прикатил в Петербург, шельма, якобы ради торговли пушниной, да только в его дорожном сундуке наши люди намыслили тайный шифр для переписки с Версалем. Французы, как тараканы, лезут в обход Бестужева, подкапывают наш трактат с Лондоном. А вице-канцлер наш, Михайла Илларионович, спит и видит, как Версаль завалит его лудорами под соусом новой дружбы. Найди мне, с кем этот шотландский прохвост шепчется у стенки. Чьи подносные письма берет. Кто из наших дам строит ему глазки не ради любви, а ради парижского золота. И помни, я тебе ничего не говорил. Ты только тень. Понял?

— Понял, ваше сиятельство, — ответил тогда Алексей, в душе холодея от осознания, что его втягивают в такую игру, где ставкой была не служба, а жизнь.

И вот он здесь. Тень среди свечей, шелка и лжи. За поясом камзола был заткнут тяжелый, холодный малый пистолет саксонской работы с тусклой сталью, чтобы не отсвечивал. В душе Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного».

Бал шумел. Начинаясь ночь, которая могла стать для поручика либо ступенью вверх, либо последним шагом в пропасть.

Внутри дворец Растрелли оглушал. С первой же секунды,

едва за спиной Алексея сомкнулись тяжелые дубовые двери, реальность словно треснула пополам. Там, за порогом, выл ледяной ноябрьский ветер, а здесь же царило вечное, горячее, душное лето. Огромные хрустальные люстры, подвешенные на позолоченных цепях к высоченному, расписанному аллегориями потолку, горели тысячами свечей. Казалось, внутри зала зажгли маленькое солнце, чей свет струился слепящими потоками, отражался в зеркалах, отшлифованном паркете, золотых рамах картин, множился, дробился и сводил с ума.

Оркестр гремел, но не так, как на скучных придворных ассамблеях, а яростно, с вызовом. Скрипки визжали, валторны трубили победу, флейты рассыпались бисером трелей в руках невидимых музыкантов. И под этот грохот двигалась, плыла, вздыхала в такт тяжелая, шитая золотом и серебром толпа. Шуршали тяжелые кринолины, которые дамы несли перед собой, словно осадные орудия, шелестели шелка, шуршали веера, позвякивали шпаги о каблуки. Запахи смешались в удушливый, сладковатый коктейль: пудра для волос, ваниль и миндаль, дорогой воск, которым натирали паркет, французские духи с нотами амбры, жасмина и мускуса, и, чуть ниже, прогорклый запах свечного жира, на котором экономили в лакейских.

Вся петербургская знать, наряженная в причудливые маскарадные костюмы, явилась сюда, чтобы забыть о войне, о налогах, о том, что за стенами дворца холод и смерть. Пас-

тухи в розовых шелковых камзолах с пастушками в фижмах, древние нимфы с фальшивыми локонами, восточные султаны в тюрбанах с бриллиантовыми аграфами, чинно плыли в менуэте, делая изящные реверансы и томно вздыхая. На русском здесь почти не говорили. Со всех сторон, как щебет экзотических птиц, порхало картавое галльское наречие. «Мерси, мон шер», «а, пардон, мадам», «кель домаж», отчего от этого слащавого, кокетливого говора у Алексея сводило челюсти. Ему, выросшему среди грубоватой прямоты армейских казарм, эта нарочитая европейская утонченность казалась личиной, за которой пряталась самая обыкновенная, хитрая корысть.

Он занял позицию у массивной мраморной, холодной, как лед, колонны, и скрестил руки на груди. Со стороны он походил на надгробное изваяние: темная фигура, неподвижная маска, только серые глаза за прорезями черной бархатной маски жили своей собственной, хищной жизнью. Алексей сканировал толпу методично, как привык сканировать поле боя, разделяя её на сектора, выискивая цели, слабые места, неожиданные угрозы.

Вот и хозяин дома – вице-канцлер Михаил Илларионович Воронцов. Дородный, вальяжный, он стоял в центре залы, как сытый, хорошо откормленный барин на ярмарке. На нем был бархатный кафтан темно-вишневого цвета, расшитый серебряными пальмовыми ветвями. Бриллиантовые пуговицы на камзоле стоили больше, чем полковой обоз Преоб-

раженского полка. Воронцов шумно смеялся, запрокидывая голову, принимая комплименты от толпы льстецов, и свойски похлопывал по плечу каждого, кто подходил слишком близко.

Рядом с ним стоял крепкий мужчина в строгом, почти пуританском европейском платье – скромном суконном кафтане кофейного цвета и простом, безо всяких украшений, шейном платке. Это был Питер Дуглас, шотландский дворянин, якобы охотник, якобы путешественник, якобы торговец пушниной. Но Алексей знал, что Дуглас агент французского Версаля, человек, который за последние полгода подозрительно быстро стал желанным гостем в этих покоях. Его принимали как родного, дамы улыбались ему, Воронцов жал ему руку чуть дольше, чем остальным.

И сейчас Алексей стал свидетелем этого тайного ритуала. Воронцов как раз принимал от Дугласа тяжелую золотую табакерку – вещь старинной ювелирной работы, с монограммой и миниатюрой под крышкой. Он взвесил её на ладони, одобрительно хмыкнул и сунул в глубокий карман кафтана. Алексей прищурился. На долю секунды, когда крышка откинулась, он заметил изнутри край багрового сургучного клейма, скрывавшего двойное дно. Он знал этот знак Тайной канцелярии Версаля. В табакерке не было табака. Там были сложенные в несколько раз, промасленные бумаги: донесения, шифровки, векселя. Самый опасный груз, который можно было провезти через границу.

— Ах, поберегись, ротозей! — писклявый, злой голос лакея прорезался сквозь гул бала прямо у левого уха.

Алексей инстинктивно подался назад, вжавшись спиной в мрамор колонны. Споткнувшийся слуга, молодой, краснолицый, с закотившимися от усталости глазами, едва не опрокинул тяжелый серебряный поднос, на котором возвышались пирамидой фужеры с багровым бургундским. Он поскользнулся на натертом воском паркете, качнулся, и вино, как фонтаны из хрустальных ваз, веером брызнуло во все стороны. Темные, терпкие капли окатили паркет, золоченую балюстраду и подол пышного, шитого серебряными розами платья фрейлины, стоявшей неподалеку. Дама негромко охнула, но очень по-русски, с растерянностью и обидой, без всякой французской жеманности.

— Простите великодушно, сударыня! — рявкнул Алексей, мгновенно забыв о маскировке. Он шагнул вперед, заклонил девушку от суетящегося, причитающего лакея, и выхватил из кармана кафтана чистый, накрахмаленный платок, который денщик Архип заботливо положил ему «на случай ранения».

— Оставьте, поручик, — ответил тихий, но твердый голос. Дама отступила на полшага, её пальцы, униженные недоругими перстнями, забрали платок, но не с благодарностью, а скорее с досадой. — Ткань дешевая, графиня Воронцова подарила с барского плеча. Не жалко. Пятно пусть останется как память.

Алексей замер. Только сейчас он рассмотрел её. Из-под кружевной полумаски, скромной, черной, без единого камушка, на него смотрели огромные, глубокие глаза цвета переспелой вишни. Глаза, в которых угадывалась не девичья томность, а древняя, выстраданная печаль. Лицо девушки казалось удивительно чистым среди этой накрашенной, напудренной толпы. В отличие от других дам, мазавших щеки густым свекольным багрянцем, её румянец был едва приметен, а пудра лежала на каштановых волосах столь тонким слоем, что лишь слегка приглушала их живой, глубокий цвет. Из-под маски выбился один непокорный локон.

Настасья Долгорукова. Алексей знал её историю. Она пересказывалась вполголоса на офицерских собраниях, как страшная сказка. Сирота из опального, разоренного рода, внучка того самого Долгорукова, которого казнили при Бироне. Живет здесь, приживалкой-курьером при жене вице-канцлера, исполняя мелкие поручения: отнести записку, подать платок, найти ключ от библиотеки. Её высочайший род, одна из самых древних фамилий России, превратился в тень, а сама она стала тенью среди теней.

— Вы не танцуете, княжна? — спросил Алексей, понизив голос почти до шепота, чтобы не привлекать внимания. — Здесь так весело. Весь Париж, кажется, переехал на Неву. Говорят, даже сам король Людовик завидует нашему маскараду.

Настасья горько усмехнулась, продолжая бессмысленно

промокать уже почти сухое пятно на подоле. Губы её дрогнули, обнажив на миг мелкие, ровные зубы.

— Весело, поручик Суцов? — переспросила она, и в её голосе зазвучала такая ледяная, безысходная ирония, что Алексей невольно поежился. — Если бы у стен этого дворца были мозги, они бы зарыдали. Граф Воронцов думает, что покупает дружбу короля Людовика, пересылая тайные депеши в табакерках. А на деле... — она осеклась, резко замолчала, бросила быстрый, испуганный взгляд по сторонам. Убедившись, что никто не слушает, она придвинулась ближе. От неё пахло не духами, а чистым мылом и чем-то хвойным, напоминавшим можжевельник. — Вы ведь здесь по делу Александра Ивановича Шувалова, верно? — прошептала она почти в самое ухо Алексею. — Напрасно вы у колонны стоите. Дуглас уже отдал то, что привез. Ищите не здесь. Ищите в малом крыле, в библиотеке. Через полчаса там будут «особые гости». Графиня велела мне отнести туда ключи. От потайной комнаты, где Шувалов уже давно ищет прусские шифры.

Алексей почувствовал, как сердце пропустило удар, а затем забилось часто, бешено, как пойманная птица. В груди стало жарко, хотя плотное сукно преображенского кафтана было застегнуто на все крючки.

— Зачем вы мне это говорите, Настасья Павловна? — тихо спросил он, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Я ведь могу оказаться доносчиком. Или подосланным. Как вам

знать?

Она подняла на него свой долгий, пронзительный взгляд. На миг ему показалось, что она видит его насквозь. Все его долги, изношенные локти, три медных гроша в кармане и ту молитву, которую он шептал про себя, шагая по Дворцовой.

— Доносчики носят шелк и пахнут розами, Алексей Николаич, — она посмотрела на его потертые обшлага, на поношенное сукно гвардейского кафтана, на не измятые балами сапоги. — А от вас пахнет порохом и питерским морозом. Спасайте государыню. Нас продают. Всех продают. Почему нынче православная душа на рынках Версаля? Двадцать ливров за дюжину? — она криво усмехнулась и уже собралась отойти, как вдруг из-за колонны бесшумно выскользнула тень.

— Charmant! — раздался вкрадчивый, напевный, чуть растянутый голос. — Какая трогательная мизансцена! Стыдливая целомудренная беседа в углу. Вы заслуживаете кисти самого Буше, поручик.

Алексей резко обернулся. Из толпы, словно материализовавшись из сияния свечей, вынырнул молодой человек. Он был невысокого роста, хрупкий, изящный, с тонкими, почти женскими запястьями. На нем был ослепительно-розовый шелковый кафтан, расшитый белым жемчугом и серебряными лилиями, кружевное жабо, накрахмаленное до хруста. Его напудренные волосы, собранные в тугую косицу, были уложены волосок к волоску — труды парикмахера, види-

мо, длились не один час. А на губах играла тонкая, хищная улыбка, которая не трогала холодных, изучающих глаз. Шевалье д'Эон. Тайный эмиссар Версаля. Шпион, дуэлянт, философ, а может быть... женщина в мужском платье – ходили такие смутные, скандальные слухи.

— Шевалье, — Суцов сухо наклонил голову, не згибая спины, и инстинктивно сделал полшага в сторону, задвигая Настасью себе за спину, прикрывая её собой.

— Поручик... Суцов, кажется? — д'Эон произнес русскую фамилию пугающе чисто, без малейшего галльского акцента, даже с правильным твердым «щ». Его карие глаза под простой черной полумаской сузились, впиваясь в лицо Алексея с пронизательностью хищника, изучающего добычу. — Вы так сурово смотрите на этот бал, будто планируете взять его штурмом. Приступом, с саблей наголо? Неужели русская зима делает всех гвардейцев такими... угрюмыми?

— Русская зима, шевалье, просто не любит чужаков, которые суют нос в чужие сугробы, — отрезал Алексей, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно, хотя внутри всё кипело. — А наша гвардия привыкла брать не приступом, а смирением и терпением. Качество, редко встречаемое в ваших парижских салонах.

Д'Эон негромко рассмеялся сухим, бумажным шелестом, в котором не было ни веселья, ни тепла. Француз бесцеремонно, даже с некоторой грацией, обошел поручика и протянул узкую, белую руку в кружевной манжете к Настасье.

— Княжна, оркестр играет менуэт. Позвольте украсть вас у этого грозного Марса. Мне не терпится обсудить с вами новые французские романы, что я привез из Парижа. Там есть одна история... о том, как прекрасная дама потеряла голову из-за тайны, которую доверили не тому человеку. Вам понравится, уверяю.

Настасья бросила на Алексея мимолетный, полный страха и отчаяния взгляд. Пальцы её дрожали. Она понимала, что француз подслушал их, и этот вкрадчивый тон не любезность, а прямой шантаж. Отказ или попытка сбежать превратятся в немедленный донос Воронцову, а дальше следует ожидать сырых застенок Тайной канцелярии, монастырское заточение или вечную сибирскую ссылку. Она вложила свои холодные пальцы в его руку, и д'Эон, с поклоном, повел её в круг танцующих. Сделав несколько шагов, француз обернулся на Суцова, и, глядя ему прямо в глаза, одними губами, беззвучно, произнес: «*Vonne chance, поручик*».

Удачи.

Алексей проводил их взглядом. Его ладонь сама собой сжалась на узком эфесе шпаги, побелев костяшками пальцев. Времени не было. Француз раскусил его. Д'Эон понял, зачем Суцов здесь. Но Настасья дала наводку: библиотека, малое крыло, потайная комната. «Через полчаса», — сказала она. Значит, надо успеть раньше. Алексей поправил маску, отлепился от мраморной колонны и бесшумно, тенью скользнул к выходу из зала, туда, где за тяжелыми парчовыми пор-

тьерами начинались темные, опасные коридоры дворца. Бал продолжался, но для поручика Суцова началась совсем другая игра, та, где ставкой была не только его честь, но и сама жизнь.

\*\*\*

В малом крыле дворца царила тишина. Та особая, звенящая тишина, которая бывает только в парадных пустующих залах, где каждый шаг отдаётся глухим эхом, а собственное дыхание кажется оглушительным. Сюда, сквозь череду тяжёлых дубовых дверей и плотных портьер, звуки бала доносились приглушённым, едва различимым гулом. Словно где-то далеко-далеко шумит морской прибой. Смолкли визг скрипок, звон фужеров, сухой шелест вееров. Осталась только тишина, нарушаемая лишь потрескиванием свечей в медных канделябрах да редким скрипом половиц.

Алексей бесшумно скользил по тёмным коридорам, ступая с пятки на носок, как привык за годы ночных караулов. Каждый шаг он выверял, стараясь не задеть узким эфесом шпаги за резные панели, не звякнуть подкованными каблуками сапог. Длинные анфилады сменяли одна другую, утонув в полумраке парадных гостиных, где мебель стояла под белыми, пропахшие нафталином чехлами. Мелькали узкие галереи, увешанные портретами предков. Попадались маленькие будуары с запертыми наглухо ставнями. Воздух

здесь был спёртым, пахло старым деревом, воском, мышами и ещё чем-то неуловимо-сладким, вероятно, дорогими духами, которые впитались в портьеры за долгие годы балов.

У двери библиотеки Алексей остановился, вжавшись в нишу за тяжелой бархатной портьерой цвета запёкшейся крови. Ткань была плотной, почти не пропускала света, и он замер в полной темноте, стараясь унять дыхание. Плечо саднило от напряжения, на лбу выступила холодная испарина. За поясом тяжело давил пистолет, но стрелять здесь, в тиши, было бы самоубийством.

Дверь в библиотеку была приоткрыта на ширину ладони. Из щели лился слабый, теплый свет свечей, колеблющийся и тревожный. Он рисовал на тёмном паркете полоску, похожую на золотой клинок. И оттуда же, сквозь щель, доносились голоса, сначала неразборчивые, как шорох, потом всё отчётливее.

— ...Елизавета слабеет день ото дня, — говорил Воронцов. Алексей сразу узнал его маслянистый тенор. Голос вице-канцлера звучал вкрадчиво и заговорщицки, с той особой интонацией, с которой взрослые мужчины делят большую и опасную тайну. — Бестужев пытается закрепить союз с Англией, но если мы покажем государыне личное письмо Людовика, если она увидит собственноручные обещания короля... О, она забудет обо всех англичанах.

— Письмо уже у вас, граф, — раздался другой голос — холодный, уверенный, с лёгкой хрипотцой. Голос, от которого

у Алексея по спине пробежали мурашки. Это говорил д'Эон, но говорил совсем не так, как на балу. Прочь ушла жеманная игривость, исчезла картавая французская мягкость. Теперь шевалье звучал как человек, привыкший отдавать приказы: сухо, рублено, по-военному. И, что самое страшное, он говорил на безупречном, чистом русском языке, без малейшего следа акцента, правильно выговаривая каждую «р» и каждое «щ». — Король гарантирует вам четыреста тысяч ливров субсидий ежегодно. Золото будет доставляться через Данциг, под видом купеческих товаров. Но нам нужны гарантии, граф. Не обещания, а твердые, как гранит, гарантии.

— Какие же? — Воронцов засуетился, послышался стук его перстней о столешницу.

— Если Россия вступит в войну с Пруссией, то те ваши полки, которые стоят в Лифляндии и под Смоленском, должны действовать по нашей диспозиции. Ни шагу в сторону, граф. Карта Кронштадтских фортов, планы Бестужева и шифры Коллегии иностранных дел, вот цена нашего союза. Вы дадите нам ключ к русской обороне, а мы дадим вам... корону. Или, по крайней мере, пост канцлера, который вы так давно хотите.

В библиотеке заскрипело кресло, Воронцов, видимо, зарзал.

— Шевалье, вы рискуете, ведя эти разговоры здесь, среди своих же... Здесь мои лакеи, мои гости...

— Риск – это моя профессия, граф, — сухо оборвал его

д'Эон. Голос его стал ещё холоднее, почти ледяным. — Я рискую головой каждый день, начиная с той минуты, как перешёл границу. А вот оставлять двери открытыми, это не риск, это глупость, непростительная для человека вашего положения. Или вы думаете, что Шувалов не пришлёт сюда своих ищек? Поручик Суцов, кажется, уже здесь. Я видел его глаза на балу. Они слишком голодны, чтобы просто любоваться дамами.

К Суцову мы присмотримся. — Произнёс Воронцов. — А пока мне надо вернуться к гостям.

Грузные шаги вице-канцлера затихли где-то в глубине библиотеки.

Алексей похолодел. Его имя, произнесённое д'Эон, прозвучало как приговор. Он понял, что маскарад кончился.

Суцов не успел даже вдохнуть, не успел сжать рукоять шпаги, как портьера перед ним резко дёрнулась, обдав лицо сквозняком, пахнувшим воском и сургучом. Дверь библиотеки распахнулась настежь. На пороге, залитый неровным светом свечей, стоял д'Эон. Розовый кафтан исчез. Француз сбросил его на кресло, оставив на себе лишь простой темный камзол, обтягивающий узкие плечи. В правой руке шевалье держал обнажённую французскую шпагу – длинную, с тонким гранёным клинком, почти прозрачным в колеблющемся пламени. Сталь тускло поблескивала, словно змеиное жало.

— Вы плохо прячетесь для ищейки Шувалова, поручик, — тихо, почти ласково, процедил шевалье. Глаза его за мас-

кой, теперь Алексей видел их ясно, горели холодным, хищным блеском. — И слишком громко дышите.

— Зато я хорошо бью, — выдохнул Алексей, мгновенно выхватывая свою гранёную шпагу, со звоном вылетевшую из ножен, выставив острие вперед и замирев в жесткой боевой позиции.

Металл взвизгнул, встретившись в темноте коридора. Лязг! Скрежет! Искры брызнули в разные стороны, на миг осветив лица противников: искажённое яростью лицо Алексея и холодную, почти скучающую маску д'Эона. Алексей нанёс мощный колющий удар, вкладывая в него всю свою силу и ярость, целясь прямо в грудь, туда, где под тонким сукном билось сердце врага. Но д'Эон двигался с невероятной, почти неестественной скоростью, уворачивался от удара, словно был не из плоти и крови, а из тумана. Он изогнулся, пропуская тяжелый выпад в дюйме от бока, и в ответ его клинок скользнул по чашке эфеса Суцова, высекая сноп искр и противно звеня.

— О, армейская школа! — прошептал д'Эон, совершая молниеносный финт. — Как это скучно. Рашн фатерланд, грубая сила... Вы все одинаковы.

Алексей не успел парировать. Остриё французской шпаги, лёгкое, как комариный укус, распороло сукно на его левом плече. Сначала он почувствовал только толчок и холод. А потом вспыхнула острая, жгучая боль, которая обожгла ключицу, плечо и шею. Колени на мгновение ослабли, из

горла вырвался сдавленный хрип. Ткань кафтана быстро намочла, прилипла к телу, и по руке потекла горячая, липкая кровь.

Алексей отступил на шаг, тяжело дыша, зажимая рану здоровой рукой. Пот заливал глаза, мешал смотреть. Но он снова не раздумывая пошел вперед, давя силой и напором, как медведь, идущий на рогатину. Его шпага с треском вонзилась в книжный стеллаж, выламывая щепки из дорогого дерева. Он промахнулся всего на волосок. Д'Эону пришлось отступить, пятиться назад, в глубь тёмной библиотеки, где между столами и креслами было меньше места для его изящных финтов.

— Вы умрёте здесь, поручик, — прошипел д'Эон, отбивая очередной удар. — И никто не найдёт ваше тело. Очередной пропавший гвардеец... спишут в дезертиры.

— Преображенцы спину перед чужаками не гнут! — прохрипел Алексей.

Шевалье понял, что в ближнем бою, в тесном пространстве, гвардеец с его бешеной яростью и силой сомнёт его, просто задавив массой. Француз резко отпрянул назад к столу, где на медном подсвечнике догорала единственная оплывшая и закопчённая свеча. И пока Алексей заносил руку для нового выпада, д'Эон левой рукой сорвал со спинки кресла свой брошенный розовый кафтан. Со свистом и шелестом он взмахнул им, накрывая пламя свечи и обрушивая тяжелую шелковую ткань прямо на голову Алексея.

Раздался короткий всплеск и огонь погас. Комната погрузилась в абсолютную, удушающую тьму. Алексей запутался в подкладе кафтана, который пах французской пудрой, вслепую вонзая клинок в пустоту, отбиваясь от невидимого врага. Шпага его со звоном скрежетала по стенам, по деревянной обшивке, тыкалась в корешки книг.

— Где ты, трус? — заорал он, задыхаясь, отшвыривая наконец ткань в сторону.

Но в библиотеке было пусто. Лишь слышался удаляющийся топот за книжным шкафом, где находилась потайная дверь. Д'Эон ушёл, как тень, растворился в темноте.

Сущов опустился на одно колено, тяжело дыша, зажимая раненое плечо ладонью, которая быстро становилась липкой и скользкой. Кровь капала на паркет, на рассыпанные листы бумаг, на ворсистый ковёр. Голова кружилась, перед глазами плыли тёмные пятна.

На полу, в слабом отсвете, падавшем из приоткрытой коридорной двери, что-то белело. Алексей протянул руку и поднял кружевной платок. Тонкий, почти невесомый, с вышитой монограммой «d'E». От него исходил густой, приторный, почти удушливый аромат парижских роз. Таких в Петербурге не продавали, их привозили в специальных флаконах за баснословные деньги. Алексей поднёс платок к лицу, вдохнул и поморщился. Духи перебивали другой запах – сладковатый, аптечный, напоминающий горький миндаль. Яд? Или что-то похуже?

Он сунул платок в карман кафтана. Это была улика. Слабая, почти бесполезная, но единственная зацепка. Впереди маячили долгие часы допроса у Шувалова, но сначала надо было выбраться из этого проклятого дворца, не встретившись с Воронцовым и не истекая кровью на глазах у гостей.

Алексей поднялся, пошатываясь, и, прижимая руку к плечу, побрёл к выходу, туда, где в отдалении всё ещё гудел, смеялся и пировал слепой, ничего не подозревающий бал.

\*\*\*

# Час спустя.

## Петропавловская крепость.

Ноябрьская ночь здесь не кончалась, она просто переходила в бесконечные, свинцовые сумерки. Гулкий двор крепости тонул во мгле, лишь изредка прорезаемой факелами караульных, чьи заиндевевшие лица казались мраморными масками. Ветер завывал в бойницах, срывал с крыш сосульки, швырял их вниз, где они разбивались о камни с ледяным звоном. По галереям эхом разносились шаги часовых, мерные, как удары маятника, и где-то в глубине, за двойными дверями, глухо брехал спущенный с цепи свирепый волкодав.

Кабинет Тайной канцелярии находился в северном бастионе, в той части крепости, куда даже дневной свет заглядывал редко, словно боясь задержаться. Здесь пахло сыростью, что сочилась из каменных стен, плесенью, въевшейся в деревянные панели, застарелыми чернилами, сургучом и ещё чем-то неуловимо-кислым, тревожным, напоминавшим запах страха, который за долгие годы впитался в каждую щель и каждую половицу. Свечи в железном шандале горели тускло, желтоватым неровным светом, оставляя углы комнаты во мраке, где прятались высокие шкафы с папками, перевязан-

ными бечёвкой, и тяжёлые, окованные железом сундуки, как молчаливые свидетели тысяч допросов.

У стены, за спиной массивного стола, тикали огромные напольные часы с маятником, облицованным почерневшим дубом. Их ход был медленным, тягучим, словно они отсчитывали не секунды, а чьи-то последние мгновения.

Александр Шувалов сидел за этим столом, положив локти на сукно, заваленное свитками с багровыми печатями. Он не спеша и методично перебирал бумаги, каждым движением подчёркивая свою власть над временем и судьбами. На нём был простой, даже аскетичный зелёный мундир без единого ордена, лишь тусклые пуговицы с двуглавым орлом. Седые, жидкие волосы зачёсаны назад, открывая высокий, изборождённый морщинами лоб. Но самое страшное было в его лице. Левое веко Шувалова периодически подёргивалось в зловещем, рваном ритме, то замирая на мгновение, то вдруг взлетая вверх, обнажая белок, и вся левая половина его физиономии превращалась в дергающуюся, беснующуюся маску. Этот тик сводил с ума даже самых стойких. Казалось, что граф не человек, а заводная кукла, в которую вселился дьявол.

Алексей Суцов стоял перед ним не по уставу, а как солдат, едва держащийся на ногах от потери крови, но упрямо выпрямивший спину. Лицо его было бледным, почти пепельным при тусклом свете свечей. На левом плече, поверх мундира, наспех намотана окровавленная повязка. Денщик Ар-

хип перетянул рану тряпицей в карете по дороге сюда, но кровь всё ещё сочилась, проступала алыми пятнами на сукне и с глухим, мерным стуком капала на половицы. Капля. Пауза. Ещё капля. Этот звук, казалось, вторил ходу часов, создавая жуткую симфонию каземата.

На столе перед главой Тайной канцелярии лежал аккуратно расправленный кружевной платок, тот самый, который Алексей поднял в библиотеке. Шевалье д'Эон обронил его, уходя через потайную дверь. Платок белел на тёмном сукне, как свежий саван, от него исходил слабый, едва уловимый аромат парижских роз – чужой, навязчивый, почти оскорбительный в этой прокуренной, пропахшей страхом комнате.

— Значит, д'Эон, — сухо произнёс Шувалов, не поднимая глаз. Его голос звучал монотонно, бесцветно, как стук каминных часов, ни интонации, ни эмоций, только ледяная, гипнотическая ровность. — Говорит по-русски. Крадёт шифры. Покупает Воронцовские милости. А ты его упустил, поручик.

— Он ушёл через потайной ход, ваше сиятельство, — глухо ответил Алексей. Голос его сел толи от боли, толи от напряжения и холодного воздуха, которым он надышался на мосту по дороге сюда. — За книжным шкафом.

— А ты думал, что поймаешь француза голыми руками, — перебил Шувалов, и в его монотонном голосе вдруг прорезалась сталь. — А он ускользнул, оставив тебе тряпку и рану на плече. Красиво, поручик. Очень красиво. Бал, мас-

карад, шпага, кровь... — граф наконец поднял глаза. Тяжёлый, буравящий взгляд упёрся в лицо Алексея. Левое веко дёрнулось, замерло, снова дёрнулось. — Только это не роман для светских барышень. Это государственная измена.

— Обыск на подворье Дугласа ещё мог бы...

— Никакого обыска не будет, Суцов, — Шувалов откинулся на спинку кресла, и дерево жалобно скрипнуло под его весом. — Если мы сейчас арестуем Воронцова или обыщем его гостей, французы поднимут крик на всю Европу. А нам этот крик сейчас как нож в сердце. Государыня больна, — он сделал ударение на последнем слове, и пауза повисла в воздухе тяжёлым, свинцовым облаком. — Двор расколот. Каждый тянет одеяло на себя. Бестужев грызётся с вице-канцлером, молодой двор плетет свои интриги, а Елизавета Петровна... — он не договорил, только махнул рукой. — Ей сейчас не до заговоров. Ей бы до утра дожить.

Граф медленно встал, опираясь костлявыми пальцами о столешницу. Его фигура в полумраке казалась непомерно высокой, почти призрачной. Он обошёл стол, приблизился к Алексею и тяжело опустил руку на его здоровое плечо не отеческим жестом, а скорее, как палач, примеряющий топор.

— Нам нужны неопровержимые доказательства, поручик, — сказал он, и каждое его слово падало как камень в воду. — Ключи от их шифров. Списки изменников. Прямые улики, которые можно будет положить на стол Сенату. А не кружевной платок, пропахший французскими духами.

Шувалов перевёл взгляд на белеющий лоскут, и его лицо исказилось очередным тиком, левая щека взлетела вверх, будто её дёрнули за нитку.

— Ты упустил его сегодня, Сущов. — Голос графа упал до шёпота, такого же ледяного, как воздух за окном. — Но теперь этот шевалье твоя тень. Ты будешь ходить за ним по пятам, спать с его именем на губах и дышать его духами. Ты узнаешь, где он бывает, с кем встречается, какие книги читает и какую ложку держит в правой руке. Игры кончились. Либо ты добудешь мне его шифровальные книги, либо...

Он отпустил плечо, отступил на шаг, и его рука скользнула к кружевному платку. Шувалов поднял его двумя пальцами, словно дохлую мышь, и помахал перед носом Алексея.

— Либо ты до конца дней своих сгниешь на каторге в сибирских рудниках, вместе с этим чёртовым кружевом. Как доказательство того, что ты был в сговоре. Понял?

— Понял, ваше сиятельство, — выдохнул Алексей, чувствуя, как пот заливает глаза.

— Ступай. И зашей рану. Потом будешь истекать кровью, когда дело сделаешь.

Алексей отдал честь, уставно щелкнув каблуками, развернулся и вышел, стараясь ступать твёрдо, хотя перед глазами уже плыл липкий тёмный туман.

\*\*\*

Над Петербургом занимался ледяной, серый рассвет.

Он наступал нехотя, словно просыпающийся больной – долго, мучительно, с мокротой и кашлем. Небо над Невой было цвета старого олова, низкое и давящее. Метель утихла, но мороз крепчал с каждым часом. Воздух превратился в невидимые иглы, которые кололи лицо, руки, впивались в грудь, заставляя дышать с болью.

Алексей вышел на промерзшие плиты крыльца Тайной канцелярии, на лестницу, ведущую прямо во внутренний двор крепости. Ступени покрылись коркой льда, перила обледенели. Здесь, за спиной, остались закрытые двери, за которыми пытали, судили и обрекали на вечную каторгу. Впереди виднелся узкий мост через застывшую протоку, а за ним молчаливые бастионы и заиндевелые пушки.

Сущов пошёл по мосту, прижимая раненую руку к груди, сжимая здоровой ладонью край шинели, чтобы холод не пробирался под повязку. Под сапогами скрипел сухой и колючий снег. Каждый шаг отдавался болью в плече, каждый вздох обжигал горло.

Он смотрел на чёрную воду Невы, на её медленное, тяжелое течение между заснеженных, укрепленных бревнами берегов. Река не замёрзла до конца и посередине зияла полынья, парящая белым туманом, похожая на открытую рану земли. И глядя на эту воду, Алексей вдруг с остротой понял, что его жизнь с этой минуты не стоит и медного гроша. Он лишь пешка в игре, где на кону стоят империи, короли и тайные

канцелярии. Его могут скинуть в эту полынью, и никто не вспомнит имени поручика Суцова.

Но он будет играть. Не от храбрости, а от отчаяния. Отцовские долги, изношенные локти, три гроша в кармане и эта ноющая, пульсирующая рана, всё это толкало его вперёд, заставляло стиснуть зубы и идти. Шевалье д'Эон не просто враг. Он зеркальное отражение самого Алексея, такой же хищник на тайной государевой службе, только на другой цепи.

Алексей остановился на середине моста, подставил лицо ледяному ветру, смахнул набежавшую то ли от боли, то ли от злости слезу. Его война против шевалье д'Эона только начиналась.

А впереди, за серой пеленой рассвета, уже угадывались очертания города – дымные трубы, шпили, крыши – огромный, равнодушный, живущий своей жизнью Петербург. Там, среди этих улиц, затерялся французский шпион. И где-то там же была Настасья Долгорукова, девушка с огромными глазами, которая знала слишком много и доверилась оборванному поручику.

Суцов поправил повязку, затянул потуже шинель и, хромая, пошёл дальше, где на городских улицах фонарщики уже гасили последние ночные фитили, а в воздухе пахло печным дымом, хлебом и безнадёжностью.

## ГЛАВА 2. ОХОТА НА ВЕДЬМ

Пробуждение отозвалось в теле глухой, пульсирующей болью, словно под кожу забили раскалённый гвоздь и теперь медленно проворачивали его в такт сердцу. Алексей открыл глаза и тут же зажмурился от резкого, бьющего в маленькое оконце ноябрьского солнца. Свет был белым, ослепительным и безжалостным. Он резал глаза, вызывал слезу и высвечивал каждую трещинку на бревенчатых стенах.

В камерке в Преображенской слободе было холодно и дышать становилось больно, воздух обжигал ноздри, а иней успел за ночь густо опустить углы, обрамляя их серебристой, почти сказочной бахромой. Деревянные половицы промёрзли насквозь, и даже сквозь толстые шерстяные носки Алексей чувствовал, как холод поднимается снизу, скручивает ступни, забирается под одеяло.

Он попытался приподняться на локтях, но левое плечо, распоротое французской шпагой, мгновенно прострелило острой, как удар молнии судорогой. Боль побежала по руке, впилась в шею, отдалась в затылке. Алексей глухо сквозь зубы, по-солдатски ёмко выругался и откинулся обратно на жёсткую подушку, набитую конским волосом. Та пружинила, не давала покоя, пахла потом и давними походами. Подушке было лет двадцать, ровно столько, сколько верный Архип бессленно следовал за ним.

— Инда занесло же нас на край света, прости Господи, — раздался от двери знакомый ворчливый шёпот. Голос был

сиплым, прокуренным, но в нём слышалась та особая теплота, которую не купишь ни за какие чины.

В комнату, шаркая стоптанными сапогами, на левом из которых подмётка уже отваливалась, и Архип наспех прибил её гвоздями, вошёл старый слуга. В руках он нёс жестяной таз, потемневший от времени, с дымящимся кипятком. Пар валил густыми клубами, оседал на морщинистом лице, смешивался с запахом дегтя, которым Архип смазывал сапоги. Через плечо была перекинута охапка чистой, нарезанной полосами ветоши. Старый слуга выглядел хмурым и его седые усы топорщились, как у разозлённого кота, а под глазами залегли тёмные, почти синие круги. Архип не спал всю ночь, карауля барина. Сидел в сенях на лавке, подремывал, вздрагивал от каждого шороха и точил нож об оселок, чтобы не сомкнуть глаз.

— Лежи уж, соколик, не дёргайся, — Архип поставил таз на колченогий табурет. Тот жалобно скрипнул, но выдержал, и бесцеремонно рванул край рубахи Алексея, обнажая наспех наложенную повязку. Сукно присохло к ране, и Суцов стиснул зубы так, что заныли челюсти. Из горла вырвался лишь короткий, придушенный выдох и ни стопа, ни жалобы. Он не мог себе позволить слабости перед старым солдатом.

— Вся сорочка в кровище, грех один! — Архип всплеснул руками, и таз чуть не опрокинулся. — И ради чего, спрашивается? Ради этих напудренных мусью? Полночь ушла, а я всё кровь твою с рогожи в карете да с наших половиц отти-

раю. Господи Иисусе, сколько же её было. И не убывала, никак. Я уж думал, зашивать придётся, а у меня ни иглы подходящей, ни нитки шёлковой...

В его голосе слышалась не только тревога, но и древняя, наболевшая обида. Архип помнил Алексея ещё младенцем, помнил его отца, бригадира Суцова, который говаривал: «Гвардеец в бою спины не кажет, а умирает при ружье и с честью». И вот теперь сын шёл по той же кровавой дорожке.

— Помолчи, дядька, — хрипло выдохнул Алексей, чувствуя, как по груди потекла струйка тёплой воды — Архип принялся аккуратно отмачивать присохшую ветошь, смачивая её из жестяного ковшика. Вода была горячей, почти обжигающей, но это было лучше, чем когда ткань рвут с запёкшейся коркой. — Не до ворчания сейчас. Мундир цел?

— Цел-то цел, да локти-то светятся, — Архип сокрушённо покачал косматой головой, выжимая мокрую тряпицу. Его пальцы, скрюченные старостью и тяжёлой работой, двигались удивительно нежно, словно он перебирал церковные ризы. — Я-то дыру на плече заштопал, нитку зелёную подобрал, инда не видать ничего. Но ежели ты, Алексей Николаич, ещё разок под эти хрянцузские иголки полезешь, то сукна у меня больше не осталось. Придётся тебе перед господином Шуваловым в одном исподнем предстать. А он, чай, не графиня, кружев не оценит.

Алексей не ответил. Он лежал, глядя в потолок, где по серым, прокопчённым доскам медленно ползли тени. Это за

окном проплывали редкие облака. В каждой такой тени ему чудилась фигура д'Эона.

Его взгляд упал на край простого, некрашеного, с выдвижным ящиком стола, где Архип хранил ложки и запасные гвозди. Там, поверх его гвардейской перевязи с выцветшим медным набором, лежал тот самый оброненный д'Эоном кружевной платок. Даже в этой промёрзшей, пахнущей сыростью и дешевым бакуном каморке от дорогого батиста исходил отчётливый, приторно-сладкий аромат роз.

Суцов протянул здоровую правую руку, левая всё ещё отзывалась болью при каждом движении и взяв платок, поднёс к лицу. Батист был тонким, почти прозрачным, с вышитой монограммой «d'E» — вензель, достойный принца крови. Запах ударил в ноздри, защекотал, напомнил о вчерашней схватке: звон шпаг, полумрак библиотеки, горячее дыхание врага в дюйме от лица.

«Это не просто секретарская прихоть, — подумал Алексей, сжимая кружево в кулаке, и пальцы его побелели от напряжения. — Шевалье метит высоко. Очень высоко. Такие духи не покупают на жалованье мелкого чиновника. Их привозят из Парижа в специальных флаконах, заказывают у лучших мастеров французского двора, и цена одного такого платка равна моему полугодовому содержанию. И духи эти, его визитная карточка, его вызов и его гордость. Кто ещё в столице пахнет парижским садом? Только тот, кто хочет, чтобы его запомнили. Или тот, кто уверен, что его никогда

не поймают».

Он сунул платок под подушку. Пусть лежит, как вещественное доказательство, как залог будущего допроса.

Внезапный резкий стук в тяжёлую дубовую дверь заставил обоих мужчин вздрогнуть. Удар был таким, что половицы загудели, а с косяка посыпалась известковая крошка. Стук повторился: три коротких, властных удара, отбитых рукоятью плети. В этом стуке не было просьбы, а был приказ, от которого не отказываются.

Архип инстинктивно перекрестился на тёмную, с почти стёртым ликом Николая Угодника икону в углу в углу комнаты, перед которой теплилась лампадка, и потянулся к стоящему у кровати гвардейскому тесаку. Лезвие тускло блеснуло в полосе солнечного света.

— Лежи, барин, я гляну, кого там леший в такую рань принёс, — шепнул старик, хотя голос его дрогнул. Он знал, что в такую рань с добрыми вестями не ходят.

Приоткрыв дверь на ширину ладони и оперевшись в косяк плечом, он отодвинул засов. За порогом, окутанный морозным паром, стоял невысокий человек в глухом чёрном кафтане без знаков различия, без пуговиц, без единой нашивки. Лицо его было обычным, не запоминающимся, и только пустые, не мигающие глаза, выдавали в нём курьера Тайной канцелярии. Такие люди не здороваются, не представляются и не оставляют следов.

Не говоря ни слова, он протянул в щель узкий тёмно-ко-

ричневый, с металлическими уголками кожаный пенал, запечатанный личной печатью Александра Шувалова. На сургуче алел оттиск графской короны над витиеватой монограммой – символа, перед которым трепетали сановники и генералы.

Архип принял пенал дрожащими пальцами, и курьер тут же растворился в морозном паре сеней, словно его и не было. Не хлопнула дверь на крыльце, не скрипнула ступенька, только холодный воздух ещё несколько секунд струился в щель, напоминая о незваном госте.

— Ни здрастье тебе, ни до свидания, — буркнул Архип, с ненавистью глядя вслед. — Ироды.

Алексей, пересиливая боль, в глазах потемнело, когда он неловко опёрся на раненое левое плечо, сел на кровати. Взял пенал, сломал сургуч ногтем большого пальца. Внутри, на чёрном бархате, лежал короткий листок плотной, шершавой бумаги. Мелкий почерк Шувалова, ровный, похожий на цепочку муравьёв, не оставлял пространства для маневра. Каждая буква была выведена с болезненной тщательностью, словно сам граф боялся, что его поймут неправильно.

«Поручику Сушкову. Немедленно явиться к Главной аптеке, в подвальное ведомство. Дело не терпит отлагательств. Час на сборы. Шувалов».

Ни «здравствуйте», ни «пожалуйста», ни надежды на отказ. Только приказ.

Алексей спустил ноги на холодный пол. Ступни обожгло

ледяным холодом. Поёжившись, он натянул сползшую рубаху и посмотрел на Архипа. Старый слуга уже стоял с вычищенным, отглаженным, с заштопанным плечом и аккуратно зашитыми локтями мундиром в руках.

— Подавай мундир, дядька, — сказал Суцов, звучащим глухо, но ровно голосом. — Шувалов ждать не любит. Похоже, наш шевалье уже сделал свой следующий ход.

— А завтрак? — спросил Архип, хотя знал ответ.

— Успеется. Если останусь жив, то позавтракаю. А нет, так и не надо.

Алексей поднялся, пошатнулся, ухватился за спинку кровати. В голове шумело, плечо ныло, но он заставил себя стоять прямо. Впереди была дорога в центр города, вдоль Невы, мимо высившихся лесов строящегося Зимнего дворца, к Медицинской канцелярии. И где-то там, в сырых подвалах Главной аптеки, его ждало новое задание или новая засада. Архип, вздохнув, подал мундир и тихо, одними губами, прошептал:

— С Богом, соколик. С Богом.

\*\*\*

В личных покоях императрицы в Деревянном Зимнем дворце на Мойке царил искусственный, удушливый полумрак. Высокие окна, выходящие на заснеженную реку, были наглухо занавешены плотным штофом тёмно-малинового

цвета, не пропускавшим яркое ноябрьское солнце. Тяжёлые складки ткани свисали до самого пола, гасили звуки, задерживали воздух. Здесь, в этом вечном сумраке, время словно остановилось, застыло, подчиняясь лишь хриплому, прерывистому дыханию женщины на огромной кровати под балдахинном.

И пахло здесь тяжело и страшно. Уксусом, который ставили в медных тазах по углам, чтобы отогнать заразу, жжёной лавандой, чьи едкие сизые дымки тянулись от жаровен, разгоняя, как верили, «дурной воздух» и мятными каплями, графинчик с которыми стоял на прикроватном столике, заботливо поставленный камер-фрау. И поверх всего этого, отчётливо выделялся запах ладана, тяжёлый, сладковатый, въевшийся в портьеры и балдахин за долгие годы бесконечных молебнов. Смесь запахов была настолько тошнотворной, что она давила на грудь, кружила голову и навевала мысли не о бодрости, а о конце жизни.

Елизавета Петровна металась в сильной лихорадке. Её когда-то величественное, знаменитое своей свежей красотой лицо, которое сводило с ума гвардейцев в день переворота, осунулось, заострилось и покрылось нездоровой, липкой испариной. Щёки ввалились, а под глазами залегли тёмные, почти синие круги. Потрескавшиеся, сухие губы, судорожно шептали обрывки молитв, перемежаемые бессвязными приказаниями: то она звала графа Разумовского, то вдруг начинала бранить прусского короля Фридриха, то просила подать

ей карету для поездки в Петергоф на фейерверк. Каштановые волосы, некогда предмет гордости, рассыпались по подушке тусклыми, спутанными прядями. Императрица, ещё недавно властительница огромной империи, сейчас была похожа на умирающую старуху, хотя ей едва перевалило за сорок шесть.

Михаил Илларионович Воронцов стоял у самого изголовья, едва не касаясь пухлыми, униженными перстнями пальцами шёлковых простыней. Его парадный напудренный парик с аккуратными буклями на висках модного версальского фасона, слегка сбился набок, открывая вспотевшую залысину. Бархатный кафтан цвета «королевский пурпур», покрытый тяжелым золотым шитьем и бриллиантовыми пуговицами, казался неуместно кричащим в этой обители болезни. Но Воронцов не думал о приличиях. Он думал о власти.

В правой руке вице-канцлер сжимал узкий свиток плотной, дорогой бумаги верже с филигранью, запечатанный его собственной личной печатью. Это был проект указа о «французских преференциях»: торговых льготах, военном союзе и, главное, секретных субсидиях, которые Версаль обещал лично Воронцову, минуя казну. Четыреста тысяч ливров ежегодно. Золото, которое должно было сделать его первым министром.

— Ваше Величество... Матушка, — вкрадчиво, почти интимно зашептал Воронцов, наклоняясь к самому уху императрицы. От него пахло мускусом, крепким трубочным та-

баком и чесноком, которым он заедал страх. — Указ о французских преференциях... Версаль ждёт лишь вашего знака. Одно прикосновение пера, государыня, и Людовик станет нашим верным щитом против прусского выскочки. Фридрих — зверь и его нужно остановить, а англичане нам не помощники. Подпишите, матушка... Всего одно движение руки...

Елизавета слабо повела тонкой, почти прозрачной, с синими прожилками вен рукой. Её пальцы, дрожащие, неуверенные, слепо потянулись к перу, которое Воронцов уже поднёс, обмакнув в чернильницу, стоящую на столике. Глаза императрицы были полузакрыты, она не понимала, где находится, и, казалось, принимала это за очередной сон.

Воронцов затаил дыхание. Его жирное, больное сердце сорокалетнего интригана, готово было выскочить из груди от предвкушения скорого триумфа «французской партии». Ещё секунда, и конец правлению Бестужева, конец английскому влиянию, конец всем этим скучным докладам о пустой казне. Он станет хозяином России. Кукловодом.

— Руки прочь от государыни, Михаил Илларионович! — раздался от дверей глухой, громовой шёпот, полный такой ярости, что Воронцов вздрогнул и едва не выронил свиток.

Он резко обернулся. Тяжёлая дубовая дверь, обитая тёмной кожей, с глухим стуком захлопнулась и кто-то задвинул её изнутри, отрезая путь к отступлению. Из темноты анфилады, череды полуосвещённых комнат, где камер-лакеи замерли как статуи, быстрыми, несмотря на подагрическую хромо-

ту, шагами вышел великий канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин.

Старый дипломат был в строгом тёмно-зелёном, с серебряным шитьём, но без единого ордена дорожном кафтане. Он не любил украшений, предпочитая им силу слова и тяжесть власти. Лицо его напоминало морду разгневанного бульдога: тяжёлая челюсть, глубокие морщины от носа к подбородку, маленькие, глубоко посаженные глаза, горящие холодной государственной яростью. Он шёл, тяжело опираясь на трость с золотым набалдашником. Подагра мучила его уже лет десять, но в его движении чувствовалась неумолимость лавины.

— Алексей Петрович? — Воронцов поспешно, как школьник, пойманный за кражей яблок, спрятал свиток за спину. Его пухлое лицо попыталось вернуть себе вальяжное, надменное выражение, но дрожащие губы выдавали испуг. — Вы врываетесь без доклада в спальню монархини? Государыня больна, ей нужен покой, а не ваши английские нотации и запугивания. Здесь вам не Сенат, Алексей Петрович! Здесь святая святых!

— Покой ей нужен от ваших галльских крыс, вице-канцлер! — Бестужев подошёл вплотную, обдав Воронцова густым, терпким запахом трубочного табака. Канцлер всю ночь курил в кабинете крепчайший виргинский табак, и запивал лекарства портвейном. Старик был ниже ростом, но казался сейчас очень огромным. Ощущалось, что в нём го-

рела та первобытная сила, которая двигала империями. Он без церемоний, даже не спрашивая, протянул руку и железной хваткой вырвал свиток из-под бархатных фалд Воронцова. — Что это? Очередной трактат, состряпанный в Париже под диктовку маркизы Помпадур? Или личное письмо вашего протеже — шевалье д’Эона? Вы хотите подсунуть бумагу угасающей женщине, пока она бредит, и обобрать Россию как липку?

— Как вы смеете, mon cher! — Лицо Воронцова от гнева, стыда и страха, мгновенно пошло красными, нездоровыми пятнами. Он перешёл на шипящий, захлёбывающийся шёпот, косясь на кровать, где императрица застонала во сне и перевернулась на другой бок. — Это указ на благо империи! Документ, согласованный с Конференцией и Сенатом! Франция даёт нам субсидии! Четыреста тысяч ливров золотом, ежегодно.

— Франция покупает наши полки, чтобы мы таскали для неё каштаны из огня! — Бестужев сжал свиток так, что плотная бумага жалобно хрустнула, а сургучные печати треснули. — Людовик боится Фридриха как чёрт ладана! Ему нужны русские штыки, чтобы прикрыть свою французскую задницу от прусских гусар. А вы, Михаил Илларионович, за пару сотен тысяч золотых готовы подставить русскую пехоту под прусские пушки! Вы готовы торговать русской кровью за право носить орден Святого Духа! Я знаю всё! Мне докладывают каждую ночь!

— Клевета! — Воронцов попытался выхватить свиток обратно, но Бестужев легко отстранился. — У вас нет доказательств!

— Елизавета Петровна сильна была своей волей, — продолжал канцлер, не обращая внимания на вопль, и его голос стал тише, но от этого ещё страшнее. — Она сама брала шпагу и вела за собой гвардию. Она не подписывала бумаг, не прочитав их трижды. А вы пользуетесь её немощью! Вы ждёте, пока она перестанет дышать, чтобы подsunуть ей любой указ. Это не дипломатия, Воронцов! Это государственная измена!

Воронцов отступил на шаг, прижавшись спиной к резной спинке кровати. Его напудренное лицо покрылось крупными каплями пота, и по щекам потекли белые липкие ручьи.

— Трон скоро перейдёт к Петру Фёдоровичу, — процедил он ядовито, сузив глаза в щёлки. — А наследник, как вам известно, Бестужев, ваших австрийских союзников не жалуется. Он боготворит Фридриха! Ваше время уходит. Указ будет подписан. Сегодня или через месяц. Французская миссия имеет сильных покровителей при новом дворе. Сильных, Бестужев! Сильнее вас!

— Знаю я ваших покровителей, — старый канцлер приблизил своё лицо к лицу Воронцова так близко, что тот невольно отшатнулся, почувствовав кислое дыхание старика. Глаза Бестужева, мутные, но острые, впились в вице-канцлера. — Ваш изящный секретарь, шевалье д'Эон,

вчера ночью уже пустил кровь моему гвардейцу в вашей личной библиотеке. Думаете, я не знаю, зачем они шныряют у вас по углам? Вы продаёте шифры Коллегии иностранных дел, Воронцов! Вы сливаете французам планы нашей армии! Это измена, за которую на кол сажают! И я посажу, клянусь Богом и императрицей!

Воронцов на секунду побледнел так, что стали видны голубые прожилки под глазами. Его пухлые губы задрожали и на них выступила слюна. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но не нашёл слов. Только прошептал:

— У вас нет доказательств, Алексей Петрович... Всё это бредни пьяного солдата... Никто не поверит...

— Доказательства будут, — Бестужев сунул измятый, уже порванный указ в свой карман и застегнул кафтан на все пуговицы, словно запирали улику в сейфе. — Шувалов уже перевернул всю Тайную канцелярию вверх дном. Его ищейки рыщут по всему Петербургу. И если его поручик Суцов принесёт мне оригиналы ваших французских писем с подписями, шифрами и обещаниями золота, то вы поедете ловить соболей в Тобольск быстрее, чем ваш Людовик допьёт свой утренний шоколад. А там, в Тобольске, знаете, как принимаю изменников? Шлют к Богу в гости без обратного билета.

Старик развернулся, тяжело опершись на трость, подошёл к двери и распахнул её настежь, выпуская в полумрак спальни ледяной сквозняк из коридора. В проёме маячили тени караульных Преображенского полка.

— А теперь, пошёл вон от постели государыни. Вон, говорю! Пока я не кликнул караул и не приказал арестовать тебя за оскорбление императрицы!

Воронцов тяжело задышал, живот его заходил ходуном, и было видно, как под бархатом перекатывался жир. Он швырнул на пол кружевной платок, который держал в руке, вытирая лоб, и, не поклонившись и не попрощавшись, стремительно, почти бегом выскочил из спальни. Крупные брызги слюны слетели с его губ. Тяжелая дверь захлопнулась за ним с глухим, зловещим стуком, от которого вздрогнули свечи в канделябрах.

Бестужев остался один у кровати. Только он, больная императрица и тикающие каминные часы, отсчитывающие минуты уходящей жизни. Старик тяжело опустился на высокий, с резной спинкой, обитый малиновым бархатом стул, и укутал больные, опухшие ноги в тяжелое меховое одеяло, принесённое денщиком. Подагра ныла, стреляла в суставах, но боль была привычной, как старая знакомая.

Он посмотрел на метавшуюся в лихорадке императрицу. Её лицо в полумраке казалось восковым, почти прозрачным. Губы шевелились, выдыхая чьё-то имя, то ли Божие, то ли Разумовского.

Бестужев тяжело вздохнул, достал из кармана простую, серебряную, без украшений табакерку, понюхал, чихнул и устался в одну точку на стене. Время таяло, как восковая свеча на ветру. Если Шувалов и его поручик Суцов не добу-

дут французские шифры, не сегодня, не завтра, но в ближайшие дни, «французская партия» воспользуется болезнью государыни, подкупит кого надо, запугает кого надо и узурпирует власть. Тогда Россию втянут в войну на стороне Франции, разрушив выстраданный им союз с Англией, в то время как истинные интересы империи требовали сокрушить Фридриха руками британцев, а не Версаля. А он, старый канцлер, умрёт в изгнании, проклятый и забытый.

«Господи, дай сил», — прошептал Бестужев, глядя на икону Спаса Нерукотворного, тускло мерцавшую в золоченом киоте у самого изголовья.

За окном, сквозь плотный штоф, пробивался слабый, серый свет ноябрьского рассвета. Петербург просыпался. Огромный, равнодушный, полный шпионов, интриганов и честных солдат, которые не знали, за кого им завтра умирать.

\*\*\*

Здание Главной аптеки на Миллионной улице встретило Алексея Сушова резким, бьющим в нос запахом уксусной эссенции, сушёной мяты и серы. Эта кислая, едкая, щиплющая ноздри смесь, намертво въелась в старые кирпичные стены, пропитала деревянные панели и, казалось, висела в воздухе плотным, невидимым туманом. Пахло здесь ещё и лавандой, которую жгли в углах, чтобы отогнать «прилипчивые болезни», и горькой полынью, которую добавляли в уксусные по-

вязки лекарей при поветриях. Алексей, едва переступив порог, почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. Он задержал дыхание, но запахи всё равно проникали внутрь, оседали на языке, заставляли слезиться глаза.

Плечо ныло, повязка под мундиром набухла свежей сукровицей. Бледный после утренней перевязки порутчик, едва поспевал за размашистым, уверенным шагом Александра Ивановича Шувалова. Начальник Тайной канцелярии не оборачивался, не замедлял ход, не обращал внимания на тяжелый, шаткий шаг своего подчинённого. Его глухой чёрный суконный, без единого ордена, без пуговиц, застёгнутый на крючки кафтан, сливался с полумраком бесконечных аптечных коридоров. Тени от высоких шкафов со склянками падали на пол косыми полосами, и фигура Шувалова то исчезала в них, то возникала снова, словно призрак, бредущий по чистилищу.

Коридоры тянулись бесконечно. Налево и направо уходили анфилады комнат, заставленных дубовыми стеллажами, на которых в идеальном порядке стояли банки, бутылки и коробки, завёрнутые в плотную картузную бумагу. На полках лежали человеческие черепа, скелеты птиц, заспиртованные уродцы в стеклянных цилиндрах. Аптека была не просто лавкой лекарств, она была музеем смерти и лабораторией тайн. Надписи на латыни: «Radix Belladonnae», «Unguentum Hydrargyri», «Aqua Laurocerasi» бросались в глаза с каждой полки, напоминая о том, что здесь, под одной крышей, со-

седствовали исцеление и отравы, жизнь и медленная смерть.

Они миновали заставленные склянками стеллажи, некоторые из которых доходили до самого потолка, и прошли мимо комнаты, где за мутным стеклом маячили фигуры в грубых холщовых передниках, толкущие что-то в каменных ступках. Глухой, ритмичный стук пестиков сопровождал их движения, как барабанная дробь. Затем они спустились по крутой винтовой лестнице, выбитой в толще кирпичной кладки. Ступени были узкими, скользкими от пролитых когда-то масел, и Алексей, придерживаясь здоровой рукой за ржавые перила, шагал с осторожностью, чтобы не оступиться и не упасть. Внизу, в чреве здания, воздух стал ещё тяжелее, ещё спёртее. Здесь уже не пахло травами, а пахло плесенью, сырой известью и старым, прогорклым жиром.

Они остановились перед тяжёлой железной дверью, у которой, не шелохнувшись, застыли двое преображенцев с мушкетами. Их зелёные, с красными отворотами мундиры, были такими же тёмными, как стены, а лица – бесстрастные, как у покойников. Только глаза следили за каждым движением идущих. Шувалов, не говоря ни слова, приложил ладонь к массивному кованому, с хитрой системой засовов замку. Звякнули ключи, которые он достал из потайного кармана камзола, и дверь с глухим, протяжным скрежетом отворилась, выпуская наружу клуб горячего, влажного пара. Он окутал их обоих, обжёг лицо, заставил выступить испарину на лбу. Это была дверь в «Чёрный кабинет», святая святых

государственного сыска Российской империи. Место, о котором даже вслух боялись говорить. Место, где вскрывали чужие письма, подделывали печати и переписывали историю.

Внутри было жарко и удушливо, как в бане. Воздух стоял такой влажный, что кожа мгновенно становилась липкой, а дышать было тяжело, словно на грудь положили намоченную тряпку. Длинная низкая комната без окон, освещалась десятками масляных ламп. Они горели ровным, желтоватым пламенем, отражались в медных боках котлов, в стеклянных колбах, в потных лбах чиновников. Тени металась по стенам, качались, как призраки, придавая всему происходящему болезненный, почти кошмарный оттенок.

Вдоль стен на длинных, грубо сколоченных столах кипели медные, большие, полусферические, на чугунных подставках котлы. В них бурлила вода, испуская густой белый пар, который плотными клубами шёл вверх, оседая каплями на почерневших от времени балках потолка. Несколько чиновников в серых, засаленных чиновничьих кафтанах, с закатанными по локоть рукавами, обнажившими бледные, худые руки, трудились в абсолютном, пугающем безмолвии. Никто не переговаривался, не кашлял, не стучал лишний раз, только глухое бульканье воды, звон металлических лопаток и шуршание бумаги нарушали тишину. Эти люди были похожи на палачей, такие же сосредоточенные, такие же отрешённые от всего, что не касалось их работы.

— Смотри внимательно, Суцов, — негромко произнёс

Шувалов, и его голос, приглушённый паром и тяжёлым воздухом, прозвучал как из могилы. Левое веко его коротко и привычно конвульсивно дёрнулось. — Здесь куётся настоящая тишина империи. Пока Воронцов пьёт шампанское и целует ручки дамам, эти люди читают мысли его гостей, заглядывают в души и вынимают секреты, как гнилые зубы. Без шума, без пыли. Вся Европа считает нас варварами, а мы знаем о них больше, чем их собственные министры.

Алексей подошёл ближе к столу, стараясь не дышать слишком глубоко: от густого пара и запаха сургуча кружилась голова. Чиновник с бледным, как писчая бумага, лицом, какое бывает у людей, годами не видящих солнца, аккуратно держал над кипящим котлом запечатанное письмо. Он медленно вращал конверт, чтобы плотный оттиск прогрелся равномерно, но не растекался. Когда сургуч размяк до состояния мягкой глины, мастер виртуозно, с помощью тонкой костяной лопаточки, приподнял край печати. Он действовал так аккуратно, что не повредил ни лилии, ни герба, ни вензеля. Раздался едва слышный хруст, и сургучный слепок отделился от бумаги, оставшись невредимым, точно музейный экспонат. Чиновник отложил его на серебряный поднос и быстрым, отточенным движением развернул письмо.

На соседнем сухом столе, покрытом зелёным сукном, чтобы не скользило перо, другой клерк, с невероятной скоростью, почти не глядя на оригинал, принялся переписывать текст гусиным пером на чистый лист тонкой бумаги верже.

Его рука порхала, как ласточка, оставляя за собой ровные, каллиграфические строчки. Он копировал не только буквы, но и расположение строк и даже случайные кляксы, чтобы при повторном запечатывании никто не заметил подмены

— Вскрыть письмо половина дела, — Шувалов прошёл мимо, не останавливаясь, и направился к дальнему столу, где сидел сгорбленный старик в тяжелых круглых очках в роговой оправе. Старик был окружён стопками исписанных цифрами тетрадей, бумажными лентами и кодовыми таблицами. Его узловатые, с распухшими суставами пальцы, медленно перебирали листы, отыскивая нужные комбинации. — Самое сложное, заставить его, — Шувалов кивнул на письмо, — говорить. Текст — это плоть. Но душа его заключена в шифре. Французы хитры, как бесы. Официальный Версаль пишет своему послу одно, а тайный «Секрет короля» совсем другое. Двойные послания, ложные шифры, акростихи, невидимые чернила. И всё завязано на книгах, которые меняются каждый месяц. Попробуй угадай.

Шувалов взял со стола свежий лист бумаги с уже переписанной копией, и протянул Алексею. Рядом лежал и плотный, с водяными знаками в виде королевской лилии, перехваченный оригинал депеши шотландского агента Александра Дугласа в Париж.

— Читай, поручик. Что видишь? — Голос Шувалова звучал ровно, но в нём чувствовалось скрытое как в тетиве перед выстрелом напряжение.

Алексей нахмурился, вчитываясь в ровные строчки, написанные на безупречном французском, но каком-то безжизненном языке, словно писал не человек, а кукла, заученно повторяющая урок:

«Le marché des draps à Saint-Pétersbourg est stable. Notre tendre messagère à la cour de la comtesse Vorontsova travaille sans faute, livrant des échantillons de tissus à notre associé parisien deux fois par semaine...»

— Обычный торговый рапорт, ваше сиятельство, — пожал плечами Суцов, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. — Меха, сукно, поставки. Французы скупают у нас ткани? Странно, у них самих в Лионе не хуже.

Он поднял глаза на Шувалова. Глава Тайной канцелярии стоял, скрестив руки на груди, и его левая щека дёргалась в ритме, похожем на закипающий котёл.

Шувалов издал короткий, сухой смешок как один-единственный выдох, похожий на треск сухой ветки под ногой.

— Торговый, говоришь? Старик Россиньоль в Париже знатно потрудился над словарём, раз обычный гвардеец видит здесь лишь сукно. Перевожу на русский, Суцов... — Он заговорил медленнее, чеканя каждое слово, как пулю: — «Рынок сукна» — это влияние нашей так называемой «французской партии» при дворе. «Парижский партнёр» — лично его христианнейшее величество король Людовик XV, который тайно шлёт Воронцову золото. А вот «нежная посланница» ... — Шувалов сделал паузу, и его веко дёрнулось с

особой силой, — это человек, который носит д’Эону государственные секреты прямо из спальни вице-канцлера. Перешифрованные бумаги, планы Коллегии, копии указов. Курьер, которому Воронцов доверяет больше, чем собственному лакею.

У Алексея внутри всё резко похолодело, как будто, за шиворот налилась ледяная вода. Перед глазами мгновенно всплыло бледное, тонкое лицо Настасьи Долгоруковой в сиянии дворцовых свечей. Её огромные глаза, её тихий, испуганный шёпот: «Графиня велела мне отнести туда ключи... Я отношу записки...». Пальцы, унизанные дешёвыми перстнями. Платье, сшитое из ткани, подаренной с барского плеча. Она — сирота, приживалка, курьер. Идеальный «нежный почтальон». Никто не заподозрит бедную родственницу, которая носит ключи и бумаги. Она — невидимка.

— Вы знаете, кто этот курьер, Александр Иванович? — спросил Суцов, и его собственный голос прозвучал со стороны глухо, чуждо. Он изо всех сил старался держать лицо перед пронизательным взглядом шефа сыска. Но сердце колотилось где-то в горле, мешая дышать. Пот выступил на лбу, и Алексей боялся, что Шувалов заметит это, поймёт, прочитает его мысли.

— Пока нет, — Шувалов повернулся к нему всем корпусом, и его тик снова заставил левую половину лица дернуться, превратив его физиономию в жуткую, живую маску. — Но этот «почтальон» дважды в неделю, по вторникам и пят-

ницам, гуляет по аллеям Летнего сада. Передаёт донесения в условленном месте под старой ивой, что у Лебязьей канавки. Воронцов труслив, как заяц. Сам он д'Эону бумаги в руки не отдаст, потому что боится Бестужева, боится, что его схватят с поличным. Он посылает бабу. Бабу из окружения своей супруги. Графиню Воронцову окружают фрейлины, камеристки, приживалки, сироты. Кого-то из них купили или запугали.

Алексей сжал пальцы в кулак так, что ногти впились в ладонь. Он знал имя. Он не мог его не знать.

— Твоя задача, Суцов, — Шувалов наклонился ближе, и его тёплое, с кисловатым привкусом вчерашнего вина дыхание коснулось щеки Алексея, — отправиться туда прямо сейчас. Сегодня пятница. Через два часа встреча. Выследи её. Возьми с собой капрала Максима, пусть ждёт в засаде. Мне нужно знать имя девки, которая продаёт Россию за французские кружева. Мне нужно, чтобы ты взял её с поличным, с запиской в руках, с шифром. И тогда мы заставим Воронцова плясать под нашу дудку.

Шувалов подошёл к ближайшему котлу, где вода уже почти выкипела, взял костяную лопаточку, измазанную в застывшем сургуче, и с силой вонзил её в кипящую массу, размешивая, словно варево.

— Бестужеву нужен этот курьер, поручик. Старик не доживёт до лета, если мы не ударим сейчас. Понимаешь? Не доживёт! Но если мы возьмём её с поличным и заставим го-

ворить, Воронцову не отмыться. Его сковырнут с должности, сошлют или посадят. И французская партия рухнет. Ступай в Летний сад. — Он резко обернулся, и его глаза, мутные, с красными прожилками, впились в Алексея. — И помни, Суцов: если пожалеешь девку, если ты спугнёшь её или не дай Бог отпустишь, ты сам пожизненно отправишься в Нерчинские рудники. Я шутить не люблю. Я и Бестужеву слово дал, что ты надёжная ищейка. Не подведи нас.

Алексей отдал честь, уставно щелкнув каблуками, развернулся и пошёл к выходу. Тяжёлая железная дверь за его спиной закрылась с глухим, зловещим стуком. Пар ещё клубился в коридоре, смешиваясь с запахом уксуса и лаванды.

В кармане его мундира лежал надушенный розами кружевной платок д'Эона – трофей вчерашней схватки. А в душе разверзалась чёрная, холодная бездна. Ему предстояло выследить беззащитную девушку, которая доверилась ему на балу и которая единственная сказала ему правду. И он должен был взять её, как берут врага: с поличным, с доказательствами, без жалости.

Алексей вышел на крыльцо Главной аптеки. Ледяной ноябрьский ветер ударил в лицо, отрезвил, заставил прийти в себя. В горле стоял ком, и он сглотнул его с трудом.

«Прости, Настасья Павловна, — подумал он, глядя на серое, свинцовое небо. — Но ты выбрала не ту сторону. И теперь я – твоя тень».

Он запахнул шинель, поправил повязку на раненом пле-

че и быстрым шагом пошёл по Миллионной в сторону Летнего сада, где старая ива у Лебяжьей канавки ждала своего утреннего гостя.

\*\*\*

Летний сад лежал под глубоким ноябрьским снегом – притихший и вымерший, словно чертоги зимней девы из старых голштинских сказок, которые рассказывала Алексею мать. Пышная, пушистая пороша, столь необычная для этого времени года, выпала накануне и за одну ночь преобразила знакомые с детства места до неузнаваемости. Тяжёлые белые шапки легли на ветви вековых лип. Сугробы доходили до колен, скрывая гравийные дорожки и засыпая цоколи мраморных ваз.

Строгие аллеи, летом шумевшие густой зелёной листвой, теперь казались бесконечными белыми коридорами, уходящими в серую, туманную даль, где небо сливалось с землёй в одном холодном, бесцветном мареве. Деревья стояли голые, чёрные, с обледенелыми ветвями, похожие на скрюченные пальцы старух, тянущиеся к небу. Ветер, сырой и пронизывающий, залетал с залива и гонял по дорожкам сухую, колючую крупу, которая со звоном ударялась о стволы и тут же таяла на щеках, оставляя мокрые холодные полосы.

Знаменитые мраморные статуи античных богов, героев и муз, привезённые ещё Петром Великим из Италии, укрыли

на зиму в грубые деревянные футляры. Покрытые инеем доски казались в полумраке и тумане рядами ровных, однообразных гробов. Временами, когда ветер усиливался, короба жалобно скрипели, и этот похожий на стон звук разносился по пустынным аллеям, внушая суеверный ужас.

Набережную Лебяжьей канавки заволакивало серой, липкой дымкой – смесью тумана, речной испарины и дыма из бесчисленных печей. Пахло йодистой сыростью. Финский залив дышал в спину городу близким ледоставом, когда Нева начинает «становиться», и ещё чем-то неуловимым, и горьковатым, напоминающим о войне, которая где-то там, за горизонтом, уже готовилась поглотить Европу.

Чтобы не оставлять лишних улик, Алексей Суцов шёл по центральной аллее, намеренно ступая след в след по чужим отпечаткам: чьи-то сапоги, чьи-то дамские ботинки, чьи-то детские ножки давно протоптали здесь узкую тропинку. Он знал, что в Тайной канцелярии умеют читать по шагам всё: рост, вес, походку, даже настроение человека. Одиночная цепочка на свежей пороше могла выдать его с головой.

Левое плечо после утреннего визита в «Чёрный кабинет» ныло сильнее. Должно быть, повязка сбилась, и рана снова открылась, но поручик не обращал на это внимания. Он стиснул зубы, затянул потуже кушак и продолжал идти, стараясь не сбивать дыхание. Пар изо рта вырывался облачками и тут же рассеивался в морозном воздухе.

Его серый, цепкий, привыкший замечать детали взгляд,

был прикован к двум фигурам в самом конце аллеи, у замерзшего павильона Грота. Там, где когда-то, в летние, беззаботные времена, били фонтаны и играла музыка, сейчас царила ледяная, могильная тишина.

Княжна Настасья Долгорукова медленно брела вдоль деревянных щитов, укрывавших статуи. На ней была тёмно-вишнёвая шубка, отороченная соболем – подарок графини Воронцовой из числа тех вещей, которые та носила два-три сезона и отдавала фрейлинам «для поддержания вида». Шубка была немного велика, и Настасья куталась в неё, как в кокон, пряча руки в пушистую соболью муфту, единственную драгоценность, доставшуюся от матери. Её бледное, заострившееся от холода и недосыпа лицо, было обращено к земле, словно она искала что-то в снегу. Настоящего тепла в шубке не было. Алексей знал, что такое старый, вылинявший мех. Она мёрзла, но шла, потому что должна была.

В тридцати шагах позади неё, тяжело ступая и увязая в сугробах, семенила мадам Дюпре – строгая француженка-менторша лет шестидесяти, приставленная графиней Воронцовой следить за каждым шагом фрейлины, записывать все её разговоры и доносить «любезной графине» каждый подозрительный взгляд. На старухе была тяжёлая, серая, с длинной бахромой шерстяная шаль, намотанная поверх чепца, а из-под юбки торчали грубые, мужского покроя башмаки на толстой подошве. Мадам Дюпре то и дело шумно сморкалась в кружевной платок, чихала, икала и проклинала шёпотом

«варварский русский холод, от которого дохнут даже собаки». Её лицо, усыпанное фиолетовыми прожилками от частого употребления портвейна, было перекошено от холода и злобы.

Суцов ускорил шаг, перешёл на лёгкий бег. Поравнявшись с Настасьей у заиндевевшего фонтана, где когда-то били вверх серебряные струи, он резко шагнул из-за широкого ствола старой липы, преграждая ей путь. Ствол был толщиной в обхват, покрытый корой в глубоких трещинах, похожих на старческие морщины.

Настасья вздрогнула всем телом, как испуганная лань, и прижала муфту к груди, словно ища защиты. В её огромных, тёмных, как спелые вишни, глазах на мгновение вспыхнул испуг, который тут же, в следующую секунду, сменился глубокой, щемящей тревогой. Она мгновенно, как только умеют это делать женщины, заметившие близкого человека в беде, оценила его мертвенную бледность, испарину на лбу и то, как неестественно ровно он держал левое плечо, не делая резких движений.

— Поручик Суцов? — вполголоса, едва шевеля побелевшими губами, произнесла она, чтобы голос не долетел до мадам Дюпре. — Вы сумасшедший. Вы совсем рехнулись! Если мадам Дюпре увидит, что мы одни... если она узнает... Графиня Воронцова немедленно узнает об этой прогулке. Меня выгонят, сошлют, запрут в монастырь!

— Пусть узнает, княжна, — Алексей ответил жёстко, не

улыбаясь, и сделал полшага вперёд, заставляя её отступить в тень деревянного футляра статуи. Дерево пахло смолой и прелой соломой, которой утепляли статуи на зиму. — Боюсь, у графини скоро будут заботы посерьёзнее, чем сомнительная репутация её фрейлины. Например, собственная шкура. Тайная канцелярия роет под неё, как кроты.

— Боже... Что с вами, Алексей? — её голос дрогнул, она невольно, почти бессознательно потянулась к его бледной щеке прохладными, чуть влажными пальцами, но тут же отдернула руку, вспомнив про компаньонку, которая остановилась вдали, высматривая что-то в другом конце аллеи. — Вы снова дрались на дуэли? Это из-за меня? Вы погубите себя. Императрица строго карает за шпагу. Пожалуйста, уходите, пока не поздно.

— Если бы это была дуэль, Настасья Павловна, — Сущов ухмыльнулся с горечью, и его улыбка вышла кривой, недоброй. — На дуэлях бьются дворяне по правилам чести с секундантами, врачём и выбором оружия. А меня вчера ночью пытались прирезать в темноте, как скотину на бойне. Из-за угла. Чисто парижские замашки, вам не кажется? Использовали тяжелую ткань, чтобы ослепить, и погасили единственную свечу, чтобы сбить с толку. Профессионально. Опытно. С любовью.

Настасья смертельно побледнела так, что её лицо стало почти прозрачным, словно воск, и сделала шаг назад, упершись спиной в обледенелое дерево футляра. Доски жалобно

скрипнули.

— Я... я не понимаю, о чём вы говорите, — прошептала она, и её глаза наполнились слезами, но она не дала им пролиться, сдержалась.

— Всё вы понимаете, Настасья, — Алексей наклонился к ней, почти касаясь её щеки своим холодным, обветренным лицом, и понизил голос до едва различимого шёпота, такого тихого, что его едва можно было расслышать на расстоянии вытянутой руки. Каждое слово давалось ему с трудом, горло пересохло, сердце бешено стучало в груди, отдаваясь в раненое плечо. — Вчера на балу вы обронили, что у вице-канцлера ночью будут «особые гости». Я пошёл проверять ваши слова. И встретил там вашего нового кавалера. Того изящного шевалье д'Эона, который так красиво кружил вас в мезонете. У него быстрая рука, Настасья. Он бы вас зарезал, не моргнув глазом, если бы вы встали у него на пути.

— Шевалье всего лишь секретарь миссии! — Настасья попыталась перебить его, но в её глазах уже заплясала паника, испуганные огоньки, которые она не могла скрыть. — Он вежлив, он образован, он просто привёз мне французские романы Вольтера, Руссо и Дидро. Я люблю читать по-французски, вы же знаете!

— Ваш «секретарь» владеет шпагой лучше, чем весь мой полк, Настасья! — Алексей жёстко, но осторожно взял её за край собольей муфты, фиксируя её так, чтобы она не могла уйти. — И говорит по-русски без малейшего намёка на

галльский выговор, когда думает, что его никто не слышит. Ни «р», ни «ж» не картавит. Чистая московская речь, какой изъясняются в столичных коллегиях. Он шпион, Настасья. Шпион «Секрета короля» – личной шпионской сети Людовика Пятнадцатого, о которой даже французские министры не знают. Он и этот шотландский дворянин Дуглас покупают наших сановников, как девок на ярмарке. А Воронцов и рад продаваться за версальское золото, ему лишь бы Бестужева подсидеть.

Суцов перевёл дыхание, чувствуя, как пульсирует боль в плече, и продолжил:

— Тайная канцелярия Шувалова уже вскрыла их почту. «Черный кабинет» работает на полную. Вы их курьер, Настасья. Вы носите им государственные секреты, не зная, что в запечатанных конвертах. В «Черном кабинете» вас называют «нежной посланницей». Так закодировали в депешах.

Настасья резко вырвала муфту из его пальцев. Она дёрнула так сильно, что едва не поскользнулась на льду. В её глазах, полных слёз, внезапно, как пламя, вспыхнула бешеная, фамильная гордость Долгоруковых. Та самая гордость, которая водила её предков на плаху и не давала им просить пощады. Лицо её стало жёстким, губы сжались в тонкую полоску.

— Не смейте! — выдохнула она, и голос её зазвенел от обиды и гнева. — Вы ничего не знаете! Ничего! Думаете, мне нравится улыбаться этим напудренных чужестранцам?

Слушать их плоские, пошлые шутки о «русских медведях» и «варварской Московии»? Мой отец сгнил в берёзовской ссылке — мёрз, голодал, молился, пока не ослеп от слёз! Наше имя растоптано, имение конфисковано, императрица Елизавета не желает и слышать о Долгоруковых! У меня ничего нет, кроме этого, проклятого места при дворе Воронцовой! Меня заставили! Заставили, слышите? Графиня сказала: или ты носишь мои записки, или я выгоню тебя на улицу. А на улице, только притон, позор да голодная смерть.

Она замолчала, часто дыша, и слеза, одна-единственная, крупная, как бриллиант, скатилась по её бледной щеке, застыла на подбородке и упала на соболиный мех муфты.

— Настасья... — Суцов смягчился, и в его голосе, который только что был жёстким и требовательным, проступила искренняя, такая глубокая боль, что он сам удивился. Он сделал шаг назад, отпустил её ткань, давая пространство. — Поймите, я здесь не как судейский палач. И не как доносчик, хотя вы так меня и назвали. Я пришёл защитить вас от неё, от них, от вас самой. Шувалов уже подписал бы указ о вашем приводе под караул, если бы знал ваше имя. Он ищет «нежную посланницу» по всему городу. Из подвалов Тайной канцелярии не возвращаются, Настасья. Там не спрашивают, кто тебя заставил. Там спрашивают только подписи под признаниями. Скажите мне правду: что в тех записках, которые графиня просит вас передать французам? Что вы для них носите? Планы полков? Списки агентов? Шифры? Или

что-то ещё?

Настасья посмотрела на него с не наигранным, не театральным, а настоящим ужасом, который только сейчас понял, в какую пропасть его затянули. Её губы задрожали от холода, или от внезапного страшного осознания.

— Вы... вы действительно служите Шувалову? — прошептала она, отступая на шаг, потом ещё на шаг. — Вы его ищейка? Вы доносчик, Алексей? Вы придёте арестовать меня? Связать мне руки и увести в... туда?

— Я служу России, Настасья, — Суцов посмотрел ей прямо в глаза, в чёрную бездну её зрачков, не отводя взгляда, и голос его был твёрд, как сталь клинка. — И не хочу, чтобы французские крысы управляли нашей волей, пока государи-ня томится в жестокой лихорадке. А вы являетесь инструментом в их руках, даже если вы этого не понимаете. Ваши руки чисты, но бумаги, которые вы носите, кровавые. Они куют цепи для России. Поймите, я хочу спасти вас от этого.

Она закрыла глаза на секунду, судорожно вздохнула, и когда открыла их слёзы уже не текли, они высохли, оставив на щеках солёные дорожки.

— Я не знаю, что в записках, Алексей, — прошептала она, и в её голосе не было больше ни гнева, ни гордости, только тупая, безысходная усталость. — Клянусь вам памятью отца, клянусь всем, что у меня осталось, этой муфтой, этой шубкой, этими дешёвыми перстнями, я не знаю. Графиня сама запечатывает их своей личной сургучной печатью с гербом

Воронцовых. Я просто отдаю их д'Эону на прогулках в Летнем саду. Вот как сейчас... — она оглянулась на мадам Дюпре, которая стояла, отвернувшись, и сморкалась в снег. — Он ждёт меня у старой ивы. Я должна передать ему конверт. Графиня сказала, что это срочно.

Настасья резко умолкла. Её взгляд, скользнув за спину Алексея, застыл, расширился, и лицо её стало мертвенно-бледным. Таким бледным, что синие прожилки на висках стали видны, как реки на карте. Она смотрела туда, откуда только что пришёл Суцов.

Алексей инстинктивно положил правую руку на эфес шпаги и медленно, стараясь не делать резких движений, чтобы не потревожить раненое левое плечо, обернулся.

Из-за поворота заснеженной аллеи, мягко, почти бесшумно ступая по насту дорогими кожаными сапогами на низком каблуке, выходил шевалье д'Эон. Рядом с ним, подобострастно заглядывая ему в лицо и что-то быстро, восторженно щебеча, семенила мадам Дюпре. Её серое лицо покраснело от мороза и предвкушения вознаграждения. Старуха буквально стелилась перед французом, размахивая руками, показывая на статуи, на деревья, на грот, и д'Эон вежливо, но отстранённо кивал, не слушая.

На д'Эоне был тёмно-зелёный суконный кафтан, подбитый хорошим, добротным, отороченный чёрным бархатом. На руках надета пушистая меховая муфта, из которой торчали кончики пальцев в тонких перчатках. Его напудренные

волосы были уложены в аккуратную косицу, перевязанную чёрной лентой. Его бледное, точеное лицо скрывала изящная чёрная полумаска, закрывавшая верхнюю половину лица, но губы... на губах шевалье играла всё та же тонкая, ядовитая и абсолютно уверенная в себе улыбка. Улыбка человека, который знает, что он здесь главный, и которому никто не указ.

Он остановился в пяти шагах от них, и мадам Дюпре тут же замолчала, отступила в сторону и замерла, ожидая приказаний.

— Ах, какая восхитительная пастораль, — негромко, но внятно произнёс д'Эон, и его голос, без акцента, с лёгкой, чуть слышной хрипотцой, прозвучал в тишине зимнего сада, как треск льда под ногами. Его маслянисто блестящие карие глаза под маской перевели взгляд с перепуганной Настасьи на гвардейский мундир Суцова, на его руку на эфесе, на его окровавленную повязку, выглядывающую из-под воротника.

— Поручик Суцов, вы, кажется, путаете караульную службу с прогулками во фрейлинском саду, — продолжал д'Эон, делая ещё один шаг вперёд и грациозно, почти поженски, перекладывая муфту из одной руки в другую. — Не бойтесь, что господин Шувалов накажет вас за... излишнее рвение к прекрасному полу? А впрочем, что я говорю? Любовь, она и в Петербурге любовь. Даже в Тайной канцелярии, я слышал, есть сердца.

Он усмехнулся, обнажив ровные, белые зубы, признак работы дорогого парижского дантиста, и его взгляд, скользнув

по лицу Настасьи, задержался на её мокрых щеках.

— Княжна, вы плакали? Кто посмел вас огорчить? Этот суровый воин? — он кивнул на Алексея. — Если так, я, как кавалер, обязан потребовать удовлетворения. Но, надеюсь, до этого не дойдёт. В конце концов, у нас у всех здесь одна цель — приятно провести этот морозный зимний час. Не так ли, господин поручик?

Он улыбался, но глаза его оставались холодными, как лёд на Фонтанке. И в этой улыбке, и в этом взгляде Суцов прочитал приговор: «Я знаю, кто ты. Я знаю, зачем ты здесь. И я обыграю тебя. Всегда».

Алексей медленно, не торопясь, снял правую руку с эфеса и, выпрямившись во весь рост, посмотрел французу прямо в глаза.

— Шевалье, — сказал он ровным, спокойным голосом, который удивил его самого своей твёрдостью, — я всего дышу свежим воздухом перед утренним разводом. Свежий воздух, как известно, полезен для здоровья. Особенно после вчерашних... «неудачных» прогулок.

Он сделал ударение на последних словах, и д'Эон на секунду замер. Всего на секунду. Но этого было достаточно, чтобы Суцов понял, что француз хорошо помнит вчерашнюю ночь. Помнит и злится.

— Ах, охота, охота, — д'Эон первым отвёл взгляд и, вздохнув, обратился к Настасье, протягивая ей руку в кружевной манжете. — Княжна, позвольте проводить вас до ка-

реты. Мадам Дюпре, будьте так любезны, принесите из моей кареты плед для княжны. Здесь слишком холодно для такой хрупкой флоры. И, пожалуйста, побыстрее.

Мадам Дюпре, кивнув, засеменила прочь, исчезла за поворотом.

— Поручик, — д'Эон обернулся к Алексею, и в его голосе теперь звучала сталь, прикрытая бархатом. — Если у вас есть ко мне вопросы, то добро пожаловать в мой кабинет в особняке Воронцова. Давайте решать дела как мужчины, за бокалом хорошего бургундского, а не на морозе, пугая дам. До вечера, поручик. Жду с нетерпением.

Он подал руку Настасье, и та, бледная, оцепеневшая, не смеющая послушаться, вложила свои дрожащие пальцы в его ладонь. Д'Эон повернулся и повёл её прочь, оставив Алексея одного в промёрзшей аллее.

За кустами сирени хрустнул снег. Это капрал Максим беззвучно поднял фузею, ожидая знака к нападению. Но Алексей едва заметно качнул головой: отставить. Поличного не было. Настасья не передала конверт, ловить её было не с чем, а устраивать скандал и брать французского агента без улик прямо у Лебяжьей канавки Шувалов строжайше запретил.

Снова повалил мелкий, колючий, как битое стекло снег. Сущов стоял, глядя им вслед, и чувствовал, как раненое левое плечо немеет от стужи, а в груди разрастается холодная, пустая злоба.

Он ничего не добился. Только раскрыл себя. И поставил Настасью под ещё больший удар.

«Прости, — мысленно повторил он, провожая глазами её удаляющуюся фигуру в тёмно-вишнёвой шубке, соболиной муфте, со спутанными ветром волосами. — Я найду способ. Я вытащу тебя из этой петли».

Снег засыпал следы, ветер стирал память, а впереди, за серой пеленой зимнего дня, уже угадывались новые засады, новые встречи и новая, смертельная игра.

\*\*\*

Ливерпульская аустерия на Невской перспективе гудел, как потревоженный, дышащий жаром улей, в котором вместо мёда кипела смесь зла, пота и отчаяния. Снаружи уже спустились ранние ноябрьские сумерки, и тусклые масляные фонари едва пробивали плотную, колючую мглу. Внутри царил зловещий полумрак, разбавляемый оранжевыми всполохами топившейся печи. Здесь пахло пережаренным салом, которое шипело на чугунных сковородах в открытой кухне, дешёвой махоркой, кислым пивом, пролитым на дощатые столешницы, мокрой овчиной и ещё чем-то приторно-сладким и тошнотворным, чем торговцы пытались перебить вонь. Запахи смешивались в густой удушливый коктейль, от которого кружилась голова, а в горле першило.

За длинными, грубо сколоченными столами, исцарапан-

ными клинками и покрытыми пятнами старого вина, теснились иностранные шкиперы, заезжие купцы средней руки, шушукавшиеся о ценах на пеньку и сало, и подгулявшие писари из коллегий. Они пили кружку за кружкой, пытаются забыть о безденежье и начальственных разносах. Тяжёлые, низкие своды, почерневшие от копоти сальных свечей, давили на голову, как крышка гроба. В дальнем углу, у самой духовки, откуда волнами шёл нестерпимый зной, заставляя людей потеть даже в одном исподнем, шумно резались в кости. Кости стучали, звенели монеты, иногда раздавался пьяный крик или звук оплеухи. Воздух здесь был плотным, почти осязаемым, который, казалось, его можно резать ножом.

Алексей Суцов сидел в самом тёмном углу, скрытый от центрального зала тяжёлой деревянной балкой, источенной жуком-древоточцем. Парадный преображенский мундир, вычищенный, но со штопаными локтями, остался в его промёрзшей камерке на Васильевском острове. Сейчас на поручике был поношенный купеческий кафтан из грубого синего сукна, купленный у старьёвщика за два рубля. Сукно колелось, а в нескольких местах виднелись дыры, заклеенные изнутри холстиной. На голову была надвинута помятая суконная шапка, которая натирала лоб и сползала на глаза. Алексей знал, что в таком виде он похож на мелкого прасола, загнанного в столицу непогодой. Никто не обратит внимания. Никто не запомнит.

Раненое плечо дёргалось от духоты, повязка промокла, при-

сохла к ране и теперь ныла глухой, пульсирующей болью при каждом ударе сердца. Но Суцов не шевелился, застыв, как изваяние. Он боялся, что малейшее движение выдаст его. Под столом пальцы его правой, здоровой руки крепко сжимали рукоять взведённого пистолета. Сталь была холодной, шершавой от нагара, но привычной. Алексей мысленно пересчитал готовые заряды в подсумке: их оставалось всего восемь на двоих с Климовым. Если д'Эон приведёт с собой больше трёх-четырёх человек, придётся работать шпагой.

В двух шагах, за соседним столом, через узкий проход от него, буянил его полковой товарищ подпоручик Климов, тоже переодетый в партикулярное платье. На Климове был засаленный кафтан какого-то приказного, явно с чужого плеча, и круглые очки в медной оправе, делавшие его похожим на нелепого бухгалтера. Но под сукном угадывалась атлетическая фигура, а за голенищем сапога торчала рукоять тесака. Климов старательно разыгрывал роль в стельку пьяного гвардейского квартирмейстера — человека, прокутившего всё состояние и теперь готового продать государственные тайны за пару сотен рублей. Он громко, с надрывом, стучал кружкой по столу, так что пиво разбрызгивалось на голые доски. Кружка была глиняной, тяжёлой, с отбитым краем. Климов вращал мутными глазами и во весь голос, на всю залу, хвастался соседу, бородатому мужику в армяке и тощему шведу в странной шляпе:

— Да я эти чертежи... Кронштадтские-то форты... — он

икнул, натурально от души, и хлопнул ладонью по столу, — нам их в канцелярии на прошлой неделе выдали! Настоящие! С подписями самого генерала фортификации! Ежели какой купец английский или, скажем, хрэнцузский даст за них триста рублёв — враз отдам, не глядя! Мне батюшка из деревни ни гроша не шлёт, а долги за картёж, вино да девок платить надо! Эй, есть тут знающие люди?

Он оглядывался по сторонам с пьяной, нарочитой откровенностью, и пара завсегдатаев уже косилась на него с нездоровым интересом. Это была наживка, пущенная через подкупного лакея в доме Воронцова всего пару часов назад. Алексей был уверен, что д'Эон не упустит возможность выкупить схемы укреплений Кронштадта без ведома самого канцлера. Французы отчаянно нуждались в картах финского побережья, и этот куш был слишком хорош, чтобы от него отказываться.

Время тянулось медленно, как патока. Алексей считал удары своего сердца. Сто тридцать семь... Сто восемьдесят два... Двести четыре. Казалось, прошла вечность.

Дверь трактира с грохотом распахнулась, впустив в зал клуб морозного белого, густого, почти непрозрачного пара. Крошево снега влетело внутрь, закружилось над головами посетителей и растаяло на раскалённых досках печи с шипением, похожим на змеиное. Завсегдатаи на секунду притихли. Кто-то даже поперхнулся пивом, кто-то привстал, чтобы разглядеть вошедших.

Сущов подобрался, как пружина. Его палец, лежавший на спусковом крючке, до побеления сжал холодный металл. Сердце ухнуло вниз, замерло, затем забилося с удвоенной силой. «Д’Эон, — пронеслось в голове. — Наконец-то».

Но вместо изящной, хрупкой фигуры шевалье, вместо напудренного парика и розового кафтана в кабаке размашистым, уверенным шагом вошёл Александр Дуглас. Шотландец был в тяжёлом дорожном плаще из грубой шерсти мышастого оттенка, накинутом поверх добротного суконного кафтана. Его непудренные рыжеватые волосы торчали из-под низко надвинутой шляпы, а обветренное, в оспинах лицо не выражало ничего, кроме холодной, деловой жестокости. За его спиной маячили трое рослых, хмурых мужчин в одинаковых тёмных колетах с выправкой наёмных убийц – бывшие дезертиры из прусской армии, которых «Секрет короля» держал для грязной работы, не требующей лишних вопросов. Они двигались синхронно, держа руки на отлёте и готовые в любой момент выхватить оружие.

У Алексея внутри всё оборвалось. Д’Эон не пришёл. Он прислал силовой заслон – головорезов, которые при необходимости заберут «товар» силой, а после уберут свидетелей. Это была не торговля, это была зачистка. Игра пошла не по его правилам.

Дуглас обвёл зал быстрым, колющим взглядом, коротким, как удар кинжала. Сразу заприметив буянившего Климова с его напускным пьянством, шотландец, не колеблясь, швыр-

нул трактирщику тяжёлую монету. Французский серебряный эю сверкнул в воздухе, упал на прилавок и звонко покотился по дереву.

— Всем вина! — рявкнул Дуглас по-русски, с сильным акцентом, но понятно. — А этого пьяницу ко мне за стол. Живо! Поговорим о его... товаре.

Он указал пальцем на Климова, и двое наёмников тут же двинулись в его сторону, бесцеремонно расталкивая посетителей. Аустерищик, польщённый щедростью, уже вовсю разливал по кружкам кислое пойло, бормоча что-то благодарное.

В этот момент Суцов понял, что медлить нельзя. Засада пока не раскрыта, но французы пришли не торговать. Они пришли убивать или пленять. Если они навалятся на Климова всей сворой, подпоручику одному не отбиться. Нужно атаковать их сейчас, здесь, пока они не растворились в ноябрьской мгле.

— Брать его! — рявкнул Алексей. С грохотом опрокинув свой стол, так что кружки и тарелки полетели на пол, он вскинул пистолет. Купеческая шапка слетела с головы, открывая бледное, решительное лицо. В тусклом свете масляных ламп блеснули его серые глаза. Это был взгляд человека, который идёт в бой и не ждёт пощады.

Грохнул выстрел, на мгновение ослепив Алексея вспышкой пороха на полке, и зал заволокло едким сизым дымом. Тяжёлая свинцовая пуля ударила одного из наёмников Ду-

гласа напрямиком в плечо. Отлетев назад, бандит выронил глиняную кружку. Она с треском разлетелась о грязные доски настила. Пиво фонтаном ударило в лицо его сообщнику, и тот, ослеплённый, дико заорал, хватаясь за глаза.

Из темноты углов, откуда-то из-за печи и бочек с соляной, с обнажёнными тесаками выскочили ещё четверо переодетых служителей Тайной канцелярии. На них были серые армяки, но военную выправку скрыть было невозможно. Они действовали слаженно, как на учениях: двое бросились к выходу, перекрывая путь к отступлению, двое — к Дугласу.

В аустерии поднялся невообразимый визг. Посетители, не замешанные в засаде, с истошными криками, давя друг друга, ломанулись к окнам и дверям. Кто-то лез через подоконники, кто-то вышибал дубовые створы плечом. Опрокинутые стулья, разбитые кружки, лужи пива, обрывки одежды — всё смешалось в едином безумном водовороте. Зал за считанные секунды превратился в адскую баню.

Климов, забыв о пьяной роли, с размаху врезал Дугласу табуретом по голове. Тот разлетелся в щепки. Но шотландец, крепкий, налитой жиром и мышцами, успел уклониться: лишь покачнулся, рванул из-под плаща тяжёлый шотландский палаш с корзинчатой гардой и со свистом, от души, полоснул подпоручика по руке. Клинок задел кость и рукав кафтана мгновенно потемнел от хлынувшей крови.

Суцов, забыв про боль в плече, про повязку, которая окончательно пропиталась багрянцем и теперь жгла огнём,

рванулся вперёд, расталкивая мечущихся обывателей. Он видел только красное, взбешённое лицо Дугласа и тяжёлую полосу стали, занесённую для нового удара.

Наёмники шотландца дрались яростно, с безжалостной солдатской выучкой, не жалея ни себя, ни противника. Один из них, громила с рваным шрамом на щеке, завалил служащего канцелярии, ударив его рукоятью пистолета в висок, и теперь наступал на Алексея с широким кинжалом. Алексей принял удар чужого лезвия на эфес своей шпаги, провернул сталь, блокируя выпады, и одновременно ногой с силой впечатал пруссу в живот. Тот согнулся пополам, выронив оружие, и Алексей, не давая ему опомниться, мощным толчком отправил его прямо на раскалённую печь.

Раздался душераздирающий вопль. Запахло палёной шерстью армяка, горелой плотью, и наёмник, корчась, сполз с чугуна на пол, катаясь по щепкам и осколкам в отчаянных попытках сбить пламя.

Дуглас, мгновенно оценив обстановку, понял, что угодил в засаду регулярных сил. Трое его людей уже валялись на полу. Оставались он сам и один уцелевший пруссак, прикрывавший его со спины. Шотландец действовал профессионально и хладнокровно. Он не стал ввязываться в затяжную схватку и даже не пытался спасти подчиненных. Выхватив из-за пояса второй пистолет, он с сухим щелчком взвёл курок и не целясь выстрелил в упор в набегавшего служащего канцелярии. Пуля попала парню в грудь. Он охнул, выронил

тесак и мешком осел на доски.

Затем Дуглас, собрав последние силы, перевернул тяжёлую дубовую скамью, за которой они сидели, и с размаху швырнул её прямо в лицо Суцову. Алексей едва успел пригнуть голову. Скамья пролетела над ним, с треском врезалась в бревенчатую стену и разломилась пополам. В следующий миг Дуглас вместе с выжившим наёмником навалился на окно, выходящее в тёмный, заснеженный переулок. Свинцовый переплёт с грохотом вылетел наружу, рама раскололась, и шотландец и пруссаком исчезли в ночной мгле, оставив на подоконнике лишь алые пятна крови.

— За ними! — крикнул Климов, зажимая раненую руку окровавленной тряпкой. Его лицо исказилось от боли, но он уже делал шаг к разбитому окну.

— Стой! — рявкнул Суцов, хватая его за здоровое плечо. — Не догоним в темноте. Они знают переулки и у них там наверняка кони. Или засада. Не лезь.

Алексей тяжело дышал, вытирая грубым, шершавым рукавом пот и копоть со лба. Рана на плече снова открылась. Он чувствовал, как по боку, по рёбрам, течёт тёплая, липкая струйка. Колет под купеческим кафтаном промок насквозь и теперь неприятно холодил кожу.

В трактире стихали крики. Кто-то стонал, кто-то матерился. Трясущийся за стойкой аустерищик крестился и бормотал молитвы. Убитых было двое – служитель канцелярии и один из наёмников. Раненые, с обеих сторон лежали на за-

литом кровью полу, перемешанном с битой посудой и щепками.

Суцов подошёл к разбитому окну, осторожно перешагивая через обломки деревянной рамы и свинцового переплёта. На обледенелом подоконнике, среди острых рваных краёв, что-то белело. Это был сложенный вчетверо обрывок дорогой плотной бумаги верже с отчётливыми водяными знаками. Должно быть, Дуглас выронил его, когда прыгал наружу, торопясь и зацепившись за косяк.

Алексей протянул руку и поднял листок. Края его были надорваны, на одном темнело бурое пятно похожее на кровь. Он развернул бумагу, поднёс к тусклому свету масляной лампы, всё ещё горевшей на стене.

Сердце в его груди на мгновение остановилось, а затем глухо, болезненно толкнуло так сильно в рёбра, что зашумело в ушах, и перед глазами поплыли красные круги.

Это была короткая записка, написанная изящным, летящим почерком с характерным наклоном вправо и лёгким, едва заметным завитком на букве «Д». Эти строчки Суцов выучил наизусть, когда изучал в архивах Тайной канцелярии перехваченные письма придворных дам. Этот росчерк он лично сравнивал с образцами в «Чёрном кабинете» и запомнил навечно.

Это был её почерк Настасьи.

Текст на французском, написанный торопливо, но аккуратно, гласил:

«L'auberge "Liverpool". Appât. Piège de la Chancellerie secrète. Ne venez pas».

«Ливерпульская аустерия. Наживка. Засада Тайной канцелярии. Не приходите».

Алексей перечитал раз, другой, третий. Пальцы его дрожали, бумага хрустела. Он приблизил записку к лицу, силась уловить запах лаванды. Или ему почудилось? Или кто-то специально пропитала бумагу духами, чтобы усилить эффект?

Он понял всё в ту же секунду. Д'Эон переиграл его в его же собственной игре. Француз или кто-то из его людей виртуозно подделал руку Настасьи. Не просто скопировал почерк, а создал идеальную имитацию – с теми же нажимами, с теми же завитками. Д'Эон знал, что если эта записка попадёт к графу Шувалову, если её найдут при нём, при поручике, то жизнь княжны Долгоруковой будет уничтожена. Её обвинят в предупреждении врага, в пособничестве шпионам. А самого Суцова поставят перед страшным, нечеловеческим выбором: либо он сжигает улику и становится соучастником сокрытия измены, либо отдает записку Шувалову и отправляет Настасью под безжалостный кнут и на вечную сибирскую каторгу.

Д'Эон знал о его чувствах. Он видел их на балу, в Летнем саду, в каждом взгляде, который Алексей бросал на На-

стасью. И он использовал это знание как самое совершенное оружие. Не сталь, не яд, а любовь, обращённую в капкан.

Алексей стоял посреди разгромленной аустерии, в окружении крови и кабацкой вони, сжимая в пальцах этот клочок бумаги, который весил не больше пёрышка, но казался тяжелее ядра. Внутри него всё вымерзло до самого дна, до последней искры тепла. Он смотрел на чёрный, провальный проём окна, в который исчезли французы, и понимал, что д'Эон сейчас где-то там, в темноте, быть может, наблюдает оттуда и улыбается той самой змеиной улыбкой, от которой стынет кровь

— Что там, Алексей? — окликнул его Климов, подходя ближе и придерживая раненую руку. — Нашли что-то?

Сущов медленно сжал записку в кулаке. Бумага захрустела, превратившись в комок. Он сунул её в потайной карман кафтана, куда никогда не заглянет чужой глаз.

— Ничего, — сказал он, и его голос прозвучал глухо, чуждо, будто принадлежал не ему. — Обрывок счёта. Неважно.

Он повернулся к Климову. Подпоручик, взглянув в его побледневшее лицо с запавшими глазами и сжатыми в нитку губами, не стал переспрашивать. Солдаты Тайного сыска умели не задавать лишних вопросов.

— Уводи людей, — приказал Алексей. — Раненых в лазарет. Убитых вывезите скрытно, без шума, чтобы команду нашу не выдать. Доложи Шувалову, что операция провалилась. Дуглас ушёл. Я... я скоро буду.

Он вышел из разгромленной аустерии на холодный, пронизывающий ветер. Снег — крупный, липкий — снова повалил, залепляя глаза, тая на щеках и смешиваясь с солёной влагой, которую Алексей упрямо не желал называть слезами.

Под сукном лежала записка. Это смертный приговор для женщины, которую он поклялся защищать. Ему предстояло сделать неотвратимый, страшный, какой не замолить в церкви выбор.

Он медленно пошёл по заснеженной Невской перспективе в сторону Невы, и в голове его стучало только одно имя: «Настасья... Что же ты наделала? Или что сделали с тобой?»

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.